

Вацлав
Михальский

Адам- первый человек

кавказская повесть

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

Вацлав Михальский

**Собрание сочинений в десяти
томах. Том десятый. Адам –
первый человек. Первая книга
рассказов. Рассказы. Статьи**

«Согласие»

1956-1961, 2014

Михальский В. В.

Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Адам – первый человек. Первая книга рассказов. Рассказы. Статьи / В. В. Михальский — «Согласие», 1956-1961, 2014

В десятом томе собрания сочинений Вацлава Михальского публикуются: кавказская повесть «Адам – первый человек», которую писатель посвятил памяти своего деда Адама Сигизмундовича Михальского; первая книга рассказов (1956–1961), увидевшая свет в 1963 году в Дагестанском книжном издательстве; отдельные рассказы и статьи, написанные автором в разное время, которые он счел важным собрать воедино в данном издании. Том снабжен примечаниями и алфавитным указателем всех произведений, составивших настоящее собрание сочинений.

© Михальский В. В., 1956-1961, 2014

© «Согласие», 1956-1961, 2014

Содержание

Адам – первый человек (кавказская повесть)	6
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Вацлав Михальский
Собрание сочинений в десяти томах.
Том десятый. «Адам – первый человек».
Первая книга рассказов. Рассказы. Статьи

© Михальский В. В.

* * *

Адам – первый человек (кавказская повесть)

I

Когда примерно за 330 лет до Рождества Христова в походе на Индию двадцатишестилетний Александр Македонский во главе своих войск нацелился на взятие Дербента и проходил этим узким песчаным коридором между горами и Каспийским морем, наверное, было так же жарко и ветрено, как и в то последнее мирное лето перед Большой войной, когда меня, годовалого, купали в поддоне картера советского грузовика «ГАЗ-АА», известного в народе под именем «полупорка», потому что его грузоподъемность была полторы тонны.

А купали меня в том неистребимо пропахшем машинным маслом поддоне не шутки ради, а потому, что ни ванной, ни ванночки у моих бабушек не было, а поддон был, поскольку мой дед Адам работал в те времена главным механиком гаража. Строго говоря, и гаража как такового у нас тоже не было, а был длинный-длинный высокий навес на железных столбах, крашенных от дождя и ветра жидким битумом, и крытый камышовыми циновками, обмазанными глиной. Под навесом, именовавшимся гаражом, стояло десятка два бортовых полупорок с деревянными кабинами, выкрашенными, как и борта кузовов, в светло-зеленый цвет. В гараже остро пахло бензином, чуть мягче автолом и солидолом и совсем мягко промасленной ветошью. Наш навес-гараж был сооружен на отшибе большого лысого куска глинисто-песчаной земли посреди необозримых виноградников, которые отделяла от нас «канавка», официально именуемая каналом Октябрьской революции.

Особенно прекрасна бывала моя малая Родина летом на рассвете. В ветвях раскидистого тутового дерева за нашим домом как бы нечаянно и спросонку начинали робко чирикать воробьи. На скотном дворе, просыпаясь, мукали коровы и в полной тишине звучно чесали шершавыми длинными языками свои тощие длинные шеи. Желтовато-серая, густая даже на вид, вода в нашей канавке текла медленно-медленно, как бы преодолевая сладкий предутренний сон. Канавка была в ширину метров пять или семь, а по крутым откосам ее берегов стелилась колючая ежевика и стояли высокие ломкие кусты цикория, сплошь увешанные белыми виноградными улитками. Как я узнал лет через сорок, эти улитки считались во Франции изысканным лакомством, но от нашего двора до Франции было далеко, и улитки стояли нетронутыми.

Перед самым рассветом, когда все замирало, как бы переводя дыхание, и воздух становился как бы стеклянным, в ежевике вдруг возникало какое-то извилистое движение, и в канавку гулко шлепались одна за другой большие лягушки и сыпались маленькие лягушата, испуганные ужом или змеей-медянкой.

На нашей стороне канавки был огромный, вытоптаный ногами людей, копытами лошадей и коров, выкатанный автомобилями и гужевым транспортом двор с гаражом, винными погребами с их длинными невысокими округлыми земляными крышами, поросшими зеленым мхом и торчащими из них маленькими трубами отдушин; скотный двор с множеством саманных пристроек, двухэтажное здание конторы, над крыльцом которой развеялся выцветший на солнце некогда красный, а теперь розовый флаг с серпом и молотом; и наконец, наш дом, который стоял на отшибе и от конторы, и от винных подвалов, и от гаража, и от скотного двора. Наверное, для нашего дома было изначально выбрано место с учетом здешней розы ветров. Выбрано так, чтобы запахи из гаража или со скотного двора уносились от нас даже слабым ветром, даже легчайшим его дуновением далеко-далеко.

А по другую сторону водораздела, как нескончаемые войска на марше, шагали шеренги виноградных лоз, подвязанных на палках – таркалах. В зыбком полусвете последних предрас-

светных минут темные листья виноградника пестрели белесо-голубыми купоросными пятнами и угрюмо поблескивали пока еще тусклыми каплями росы на них.

Далеко за виноградниками начинался город, основанный Петром Великим в 1722 году, а за ним было море, из которого каждый Божий день всплывало на небо солнце. И в ту самую минуту, как только багровый диск солнца вставал над морем, наш виноградник вспыхивал разом и начинал ослепительно сиять, как огромное зеркало. Сиял, искрился то голубым, то зеленым, то красным огнем, и потом еще долго, то вдали, то вблизи, сверкали на виноградниках острые вспышки.

И здание конторы, и коровник с его пристройками, и наш дом были сложены из самана. Саман – кирпич-сырец, который делается из глины, соломы и воды. Иногда в замес добавляют конский навоз, так как считается, что это сделает стены будущего дома более теплыми зимой и более прохладными жарким летом.

Глину с соломой месят на саман летом босыми ногами. Когда я чуть подрос, наверное, лет с четырех, мне разрешали иногда месить глину на саман. Ах, какая это была радость – месить продавливающуюся между пальцами ног глину с соломой! Какое счастье топтаться в саманной яме рядом со взрослыми или подростками! Конечно, все мои пять чувств были тогда распахнуты навстречу миру и вбирали, вбирали, вбирали в себя знания о его вкусах, запахах, звуках, свете и тени, шероховатостях, холоде и тепле. Но всего этого я не помню, а с тех незапамятных времен мелькают передо мной только яркие разноцветные пятна или что-то совсем отдельное как от меня, так и от всего остального мира, что-то обособленное и навсегда оставшееся в моей душе как признак вечной жизни. Например, я помню мою большую кособоковую тень, отражающуюся в золотистой от солнца желтоватой жиже на дне неглубокой, но обширной саманной ямы, которую только-только начали заполнять водой для будущего замеса из глины, соломы и малой толики конского навоза. Хорошо помню, как пытался я освободиться от громадной тени, несоизмеримой с моей маленькой фигуркой. Я крутился и так, и эдак, а тень от меня не отставала. Я приседал, и тень приседала, я вставал, и тень вставала. Вот тут-то меня и пронзило смутное чувство опасности – наверное, так проснулось во мне шестое чувство.

Помню, и как потом, когда мы все сообща начали месить замес и наши многие тени заплясали на вытопанной до серого лоска земле вокруг ямы, мой страх бесследно исчез. С тех пор я никогда не боялся собственной тени.

Считалось, чем круче замес, тем лучше. Затем его раскладывали совковой лопатой по деревянным формам и давали застыть. Когда раствор почти застывал, но еще не успевал окamenеть, формы снимали и заливали в них новую партию замеса.

С первыми лучами солнца на дороге, что вела к нам от белых саклей соседнего аула под горой, раздавались веселые голоса доярок, смех, звяканье ведер. Придя на скотный двор, они поднимали коров, подмывали им вымя мутной водой из канавы и начинали их доить. В тишине раннего утра звенят о ведра струи парного молока, и воздух наполняется этим сладостным запахом вечной жизни.

Закончив утреннюю дойку, доярки процеживают молоко и готовят его сдавать его счетоводу Муслиму, который уже подъехал к коровнику на запряженной в двуколку белой молодой кобыле Сильве. На двуколке белая металлическая цистерна литров на пятьсот с заворачивающейся крышкой – все знают, что эту славную цистерну «достал» мой дед Адам где-то в городе. Про цистерну всем все понятно, а вот почему молодую кобылу зовут Сильва, никто не знает. Я могу только предположить, что так ее назвали потому, что из черной тарелки радио на столбе у конторы нередко слышалось: «Сильва, ты меня не любишь! Сильва, ты меня погубишь!» – перед войной по радио часто передавали оперетту. Взмахами сивой гривы молодая блондинка Сильва энергично отгоняет мух и радуется вместе со всеми новому дню. На счетоводе кепка-шестиклинка и за ухом химический карандаш, а в руках ведомость с фамилиями доярок и кличками коров. «Социализм – это учет».

Между тем, пастух выгоняет коров на дорогу, к выпасу под горой, от которой пролегла через долину огромная, плотная, почти темно-синяя тень – метров на триста, никак не меньше. Словно из пистолета пастух стреляет сыромятным бичом.

Это коренастый рыжий паренек лет шестнадцати по имени Алимхан с беспощадным взглядом серо-водянистых глаз из-под армейской фуражки с пятиконечной звездой.

– Гхйт! Гхйт! – выгоняет он стадо на дорогу и беспрерывно хлопает бичом – он знает, что это у него хорошо получается.

Черные маленькие горские коровы, лениво забредая задними ногами, разбивают розовую пыль на дороге. Приданный пастуху в помощники светло-серого цвета с коричневатыми подпалинами на боках и на морде, бесхвостый и безухий волкодав по кличке Джигит деловито нюхает траву на обочине, ищет целебную, чтобы поддержать свой пожилой организм, а пастух все хлопает и хлопает сыромятным бичом.

Одни доярки чистят коровник, выгребают кучи навоза с соломой, другие тут же, доливая чуть-чуть воды из канавы, ловко делают штыковыми лопатами замес на кизяк и раскладывают небольшие, сантиметров двадцать в диаметре лепешки из этого месива на ровную глиняную площадку для просушки. Лепешки быстро высохнут, и будет кизяк – отопление на всю осень и зиму и для конторы, и для дома главного механика Адама, то есть для нашего дома. Уже заготовлены большие штабели кизяка, но его много не бывает, горит кизяк замечательно, а зимы у нас лютые – северный ветер Иван, дующий со стороны моря, даже при ноле градусов и высокой влажности выдувает все тепло отовсюду. Лесов в нашей округе нет, а значит, плохо с дровами и с досками, но зато есть спасительный кизяк, которого много не бывает, есть глина замазать щели, есть солома, одним словом, все у нас есть! Осенью, когда снимают с таркалов виноградные лозы, прежде, чем прикопать их на зиму, обрезают старые или лишние куски, мешающие формировать будущий куст, и у нас появляется много сухой виноградной лозы, которая горит тоже очень хорошо, вкусно – обычно ее пускают на растопку.

Винодел Вартан всегда говорил, что у нас лучшие виноградники во всем Прикаспии. Вартану можно верить, он из Кизляра – родовой вотчины князя Багратиона. А Кизляр всегда славился замечательными коньяками, которые, по местному преданию, выписывал для своих личных нужд сам Черчилль, а нужды у него, сообразно тучному телу, были немаленькие.

Наверное, дом у нас был и небольшой, и неказистый на вид, но мне он казался огромным и прекрасным. Стены его были сложены из самана, двухскатная, довольно пологая крыша покрыта в три слоя камышовыми циновками, обмазанными глиной. На крыше кое-где по краям, с северной стороны, зеленел мох, а по всему ее полю цвели цветы. С первым теплом расцветали алые маки, когда дул ветерок по нашей крыше пробегали алые волны. Потом появлялась желтая сурепка, расцветали высокие белые ромашки, которые были так призывно хороши среди ранней черной южной ночи, что слов нет. И наконец, все лето, всю осень и до самой зимы стояли нежно-лиловые сухие цветы бессмертника. И когда сейчас я пишу эти строки и думаю о бессмертниках, то сразу вспоминаю моего деда по отцу Адама.

II

Долгим летним днем маленькое белое солнце, гораздо более белое, чем сам солнечный свет, жгло так горячо, что даже мухи и стрекозы переставали летать, опасаясь, что у них пересохнут и рассыпятся крылья. К полудню на крыше нашего дома никли все цветы, кроме бессмертника, который всегда стоял прямо – и в зной, и в холод.

Летний вечер бывал короток, тих и ясен. Из-за нескончаемых выгоревших на солнце светло-зеленых шеренг виноградных лоз, подвязанных на высокие палки – таркалы и еще скрывающих под листьями недозревшие гроздья продолговатых Дамских пальчиков, розового Муската, крупной, как черешня, иссиня-черной Изабеллы и других сортов винограда, из-за

смутно различимых вдали очертаний города на берегу моря вдруг докатывались до нас волны такого свежего воздуха, такого напоенного запахом морских водорослей, что невольно и люди, и коровы в коровнике, и охраняющий их старый кутанский пес Джигит начинали дышать полной грудью и радоваться каждому вдоху. Это дул с моря северный ветер Иван. Он зарождался где-то в астраханских степях сухим и горячим, а пролетев несколько сотен километров над морем, наполнялся пахучей морской свежестью и, добравшись до нас, омывал этой бодрой свежестью, казалось, весь мир: гараж, коровник, контору, винные подвалы, крышу нашего дома, на которой поникшие днем цветы поднимали головы навстречу Ивану.

Ночь опускалась всегда внезапно. На высоком черном небе выступали лучистые и как бы острые звезды, и скоро становился виден зыбко светящийся, словно крупитчатый, Млечный путь. А когда разгоралась полная луна, крупные звезды теряли свою острую лучистость и становились яркими переливчатыми камешками, а совсем маленькие – золотыми блестками на черно-синем фоне бесконечно далекого неба. Как правило, именно в этот час позднего вечера на дальних окраинах виноградников зарождался многоголосый гам, в котором было всего понемножку: и плача, и хохота, и стонов, и криков отчаяния. Эти смешанные звуки, летящие в темноте чуть колеблемых ветром виноградных лоз, приближались со скоростью бегущий собаки и все плотней и плотней обступали нашу усадьбу.

Обычно, едва услышав эти жуткие звуки, я уходил в дом, но однажды замешкался на пороге. Получилось так, что мой дед Адам стоял спиной к двери лицом ко мне, а дверь за ним была плотно прикрыта.

– Ой-ё-ё-ёй! Уй-а-а! Ха-ха-ха! Уа-уа! Уй-ха-ха! А-а-а-ай! – леденящие кровь голоса, казалось, заполонили все виноградники и надвигались неотвратно и вот-вот были готовы преодолеть нашу последнюю защиту, наш водный рубеж – канаву, поросшую по крутым откосам стелющейся ежевикой, таинственно черной при ярком мертвенном чуть зеленоватом свете луны, ежевикой, в которой устроилось на ночь так много змей-медянок, ужей и лягушек.

Все ближе и ближе мелькали среди шеренг виноградника зловещие зеленые точки. Я знал: так горят их глаза при свете луны...

– Шакалов нельзя бояться. Они жрут падаль и нападают только на слабых, а ты сильный. Ты сильный? – спросил мой дед Адам.

– Сильный, – поддернув короткие штаны, болтавшиеся на одной помочи, уверенно отвечал я деду, хотя мурашки бежали у меня по спине.

– Значит, гони шакалов. Кричи, свисти, топай на них ногами!

Некоторые дети научаются рано говорить, некоторые рано читать, а я научился рано свистеть. Пастух Алимхан показал мне, как надо класть на язык сдвинутые кончики безымянного и указательного пальцев и сильно дуть. Не один месяц посвятил я этой науке, не один и не два, и не тысячу раз вместо свиста вылетали у меня изо рта только слюни. Но однажды раздался свист! И с тех пор, раз и навсегда, я усвоил, что главное – поймать хоть раз этот крутящийся, этот таинственный миг умения. Главное – поймать один раз, а дальше все пойдет как по маслу. В общем, свистел я вполне прилично.

– А свистеть в два пальца или просто? – спросил я деда.

– Как у тебя получается сильней?

Я свистнул без пальцев, а потом с двумя пальцами.

– Свисти с пальцами, – посоветовал дед. – Бери шакалов на испуг. Сам бери. И они убегут. Главное – не бойся. Понял?

Я не успел ответить: совершенно неожиданно для меня мой дед Адам вошел в дом и плотно притянул за собой дверь.

Я остался один на один с воем и плачем надвигающихся шакалов, с мельканием их зеленых беспощадных глаз в глубине виноградников, почти что на подступах к канаве.

Я заорал как мог. Потом засвистел с двумя пальцами. Затопал босыми ногами. Еще завизжал из последних сил.

Зеленые огоньки подступали все ближе и ближе.

Я свистнул в два пальца очень удачно, очень пронзительно. И тут от коровника донесся хриплый рык нашего охранника Джигита и метнулась по направлению к нашему дому его большая, летящая тень. Наверное, рывок от коровника занял у пса несколько секунд, а мне показалось, что совсем ничего, что он в мгновение ока вырос рядом со мной, и его густой, мощный лай как ножом отрезал шакалий вой. А еще через секунду-другую по берегам канавы дружно заквакали сотни, а может быть, тысячи лягушек. И я опять засвистел очень удачно, так сильно, что у самого зазвенело в ушах, еще никогда у меня не получалось такого свиста. Лай Джигита, кваканье лягушек и мой отчаянный свист были такими дружными, что зеленые огоньки на той стороне канавы приостановились, замерли, а потом вой, и хохот, и зеленые огоньки шакальих глаз стали откатываться от нашей усадьбы со скоростью бегущей собаки.

Наверное, мне шел тогда седьмой год, потому что если мерить по головам, то моя голова была повыше большой головы Джигита. Не помня себя от радости, я обхватил обеими руками голову пса и поцеловал его в холодный мокрый нос. Пес так растерялся от моей наглости, что только отшагнул чуть в сторону. Я же рывком открыл дверь дома.

– Пся крев! – беззлобно выругался стоявший за дверью мой дед Адам, потому что потерял равновесие и чуть не вывалился за порог.

С тех пор я никогда в жизни не боялся никаких шакалов.

III

Не то что от шакалов, но и от незнакомых собак нельзя убежать, потому что тогда у них срабатывает охотничий инстинкт: убегающих они воспринимают как свою законную добычу. Все неподвижное собака видит не дальше пятисот метров, а все движущееся гораздо быстрее, почти за километр – эта особенность собачьего виденья мира и подстегивает охотничий инстинкт, приводит в действие его спусковой механизм. Угол зрения у собак достигает 240 градусов.

О том, что нельзя убежать от собак, мне говорили и дед Адам, и пастух Алимхан. Правда, они изъяснялись не столь научно, но смысл до меня донесли. По их совету я не убегал от чужих собак и всегда делал вид, что не боюсь их ни капельки.

А что касается Джигита, то с того памятного летнего вечера, когда я, он и тысячи лягушек отбили нашествие шакалов, наши отношения с псом сильно улучшились. Если раньше они были довольно нейтральными, то теперь стали вполне дружественными. Наверное, такая перемена произошла в том числе и потому, что, однажды взяв меня под свою защиту, Джигит решил, что так должно быть всегда, что теперь он за меня в ответе. Конечно, не как за овцу, но и не как за своего хозяина Алимхана, а как за что-то среднее между ними.

Джигит было полное имя пса. Пастух Алимхан звал своего помощника Джиг, а я еще короче – Джи!

Джи был рослый пес, не ниже 70 сантиметров в плече, а может, и того выше. Его длинное тело на толстых лапах дышало мощью, даже когда он дремал, а дремал он всегда. Да, да, на вид Джи был очень флегматичный, казалось, всегда дремал, но видел, слышал, чуял все и в любую секунду был готов к действию, которое ничего хорошего не сулило его противникам. Голова у пса была большая, широкая, с заметной бороздой посередине лба – к носу. Нос тоже широкий с большими черными ноздрями. Хотя Джи был давно не молод, у него сохранились мощные, чистые, плотно подогнанные один к другому белые зубы – предмет моей белой зависти.

Среди прочих богатств я обладал треугольным осколком зеркала, усеянным с лицевой стороны черными точками, оттого что амальгама на обратной стороне сильно потерялась. Хоть

и в крапинках, но все равно зеркальце было очень хорошее – я далеко-далеко пускал им солнечных зайчиков и завистливо сравнивал перед этим осколком зеркала свои щербатые зубы с белыми, чистыми зубами Джи.

Я разжимал опрятно сухие черные губы пса и сам тут же скалился в зеркальце: сравнивал свои два серых верхних и два серых нижних молочных зуба, сравнивал и очень надеялся, что когда у меня наконец вырастут настоящие новые зубы, то они будут такие же белые и крепкие, как у Джи. Даже пастух Алимхан удивлялся тому, что пес покорно сносит мои выходки. А я не удивлялся, я понимал, что Джи понимает: хорошие зубы нужны не только собакам, но и людям. С тех пор как Джи стал меня уважать и отличать среди прочих, я отвечал ему полной взаимностью. Мы часто болтали с ним в тени коровника о том о сем. Как правило, это происходило или во время вечерней дойки, или во время утренней – до того, как Алимхан выгонял стадо на выпас, или после того, как он его пригонял. Весь день Джи был на работе – под синей горой. Да и у меня дел хватало – или глину на саманы месить, или зайчиков пускать, или отыскивать на виноградниках успевшие созреть гроздья и есть их до отвала, да и еще десятки других больших и маленьких дел было у меня.

Вот чем я больше никогда не занимался, так это не надувал лягушек через соломинку и не подбрасывал их потом как можно выше, чтобы они шмякнулись белым, нежным, раздутым пузом о твердую землю и подпрыгнули, как мячик, или сразу разлетелись на куски. Я помнил теперь, что в минуту опасности тысячи лягушек по берегам нашей канавы дружно выступили на моей стороне. Я был благодарен лягушкам за наш воинский союз и больше никогда не обижал их сам, да и защищал от других, даже от ужей и змей-медянок. Конечно, я полюбил лягушек не до такой степени, чтобы мне захотелось их съесть, как это делают французы, но полюбил крепко и верно. На каждого маленького лягушонка я смотрел теперь с дружеским участием.

А что касается Джи, то ему нравились наши разговоры, во всю жизнь его никто этим не баловал. Чабаны – народ суровый и молчаливый, а дояркам всегда некогда, или они хохочут между собой. Да и что понимают молоденькие доярки в мужских беседах?

Джи родился высоко в горах, на летних пастбищах, на окраине большого альпийского луга, где для наголодавшихся за зиму овец росли такие желанные травы, как зеленая овсяница, розовый клевер, серый астрагал, голубая скабиоза, синие гентианы. После зимовки на Черных землях, где каждая травинка доставалась с трудом, после тяжелого перехода в сотни километров, все выше и выше в горы, исхудавшие, обессиленные овцы попадали на летних пастбищах прямо в рай и день ото дня прибавляли в весе, нагуливали к новой зиме курдючный жир, радовались жизни.

Здесь, на окраине многоцветного альпийского луга, под скалой, подернутой с северной стороны голубовато-серым лишайником, под скалой, укрывающей ночью от холодного ветра, дующего с высоких, заснеженных гор, а днем спасающей от жгучих лучей высокогорного солнца, и родился Джи. Он появился на белый свет третьим, а потом родилась сестричка и еще один – четвертый братик. Джи был хорош собой и крепок от рождения, но пока что его дальнейшая судьба все-таки еще не была решена. По обычаю, на первые восемь дней оставляли всех щенков, во-первых, для того, чтобы они рассосали мать, а во-вторых, потому что на восьмой день их щенячьей жизни уже безошибочно видно, кто крепче и здоровее, а кого можно отбраковать и отправить в мир иной. Почему не оставляют всех щенков? А потому, чтобы тем, кому выпадет доля жить, досталось побольше материнского молока из сосцов, хорошо раздвоенных всей оравой. Кстати сказать, собачье молоко гораздо жирнее и богаче белками не только коровьего, но даже и козьего. А собачье молозиво обладает настолько сильными антибактериальными свойствами, что устойчиво предохраняет щенка от всякой заразы первые два месяца жизни, до той поры, пока он сам достаточно окрепнет и будет способен противостоять болезням лично – один на один.

За первые восемь дней Джи успел показать себя – явно прибавил в весе. Его и еще двух его братьев чабан оставил на белом свете, а их сестренку и четвертого братика не оставил. Так поступил чабан не от жестокого сердца, а только для того, чтобы Джи и двум его счастливым братикам досталось побольше материнского молока и заботы, чтобы выросли они здоровыми, сильными псами, попечению которых можно доверить большую отару овец. Все три брата прожили на летних пастбищах до двух лет, а потом их отправили в первый перегон на зимние пастбища. К тому времени они многое знали и многое умели, хотя главные испытания ждали их впереди. В горах Джи обрезали уши и обрубали хвост. Пастух Алимхан сказал мне, что уши обрезали для того, чтобы в драке волк не мог за них ухватить, а хвост обрубали потому, что если бы у Джи оставался его пушистый хвост, то зимой он бы прикрывал им нос от холода и мог вовремя не учуять опасность. Я понимал, что в словах Алимхана, наверное, есть правда, но все равно мне было очень жаль и ушей, и хвоста моего Джи.

На сухой желтой соломе, под сенью коровника, где густо пахло свежим навозом и парным молоком, под звучное увяканье молочных струй о стенки подоюников мы любили поговорить с Джи. Я болтал моим языком без костей, а Джи разговаривал глазами. Не очень большими, чуть-чуть миндалевидными глазами редкого для собак серо-зеленого цвета. У меня тоже глаза были серо-зеленые, так что мы с Джи понимали друг друга с полуслова. В обычное время выражение глаз у Джи, как и у всей его породы охранных собак, бывало злое, а во время наших разговоров эти злинки гасли, и вместо них вспыхивали очень добрые, очень умные, все понимающие искорки, мелькание которых я читал как мысли моего Джи. Дураки те, которые говорят, что собаки не разговаривают. Разговаривают, и еще как! Мы говорили и о зимних пастбищах на Черных землях, и о горах, и об овцах, и о доярках (совсем чуть-чуть), но главное – о войне. К тому времени Большая война, так и не накатившись железом и кровью на наши места, отодвинулась далеко на Запад, но все еще шла. Война отступила, но мы хорошо помнили ее смрадное дыхание, помнили, как многие дни летали над нами, будто черные птицы, большие черные хлопья сажи – это под Грозным горела нефть в противотанковых рвах, горела день за днем, неделю за неделей. Кто придумал залить противотанковые рвы нефтью и поджечь, неизвестно и до сих пор – в XXI веке. Но танковые колонны Манштейна остановились перед стеной огня, не прошли дорогой Александра Македонского на Дербент, а повернули на Сталинград, хотя до Баку, до большой нефти, оставалось меньше трех танковых переходов.

Я мечтал убежать на войну и просил Джи сделать это вместе со мной. Но он не мог оставить своего хозяина, пастуха Алимхана, с его коровами. А я был готов бросить все, даже моего любимого деда Адама, – я очень боялся, что война закончится без меня. Пастух Алимхан тоже мечтал о фронте и мечтал стрелять не бичом, а из настоящей винтовки, по настоящим врагам нашей Родины.

Мой дед Адам сказал, что скоро Алимхана женят, потому что женихов в ауле совсем нет. И хотя Алимхану всего шестнадцать, но его решено женить: уже год, как в ауле не было ни одного новорожденного, а так нельзя. Я не очень понимал связь между будущей женитьбой моего друга Алимхана и новорожденными, но все-таки полюбопытствовал:

– А кто его невеста?

– Кто, кто, – пробурчал дед, – ты что, слепой? Все знают. Зейнаб.

– А-а, – вспомнил я милостивую худенькую Зейнаб с сияющими черными глазами. – Она самая веселая доярка и красиво поет.

– Да, красивая девочка, – печально подтвердил мой дед Адам.

Вечером мы поговорили с дедом о Зейнаб, а на следующее утро Алимхан с его беспощадным взглядом серо-водянистых глаз из-под армейской фуражки с красной звездой не пришел выгонять стадо. Не пришел, и все... как в воду канул.

Глубокой осенью получили в ауле похоронку на Алимхана: «...в боях за город Дебrecен пал смертью храбрых». В белом ауле под почерневшей к ночи синей горой страшно голо-

силы старухи и взрослые женщины, тонкими-тонкими, словно неземными, криками пронзали мглистое небо молоденькие доярки. Все они оплакивали самого юного из погибших на войне аульчан.

Высоко задрал голову, выл Джи. Я рыдал, обняв его крепкую шею, и слезы затекали мне в уши. Мой дед Адам в одном исподнем вышел в ночь, чтобы загнать меня спать, но, дойдя до коровника и увидев нас с Джи, только махнул рукой, пробормотал свое «псякрев» и пошел в дом.

Как и в вечер шакальего нашествия, в небе зловеще светила зеленоватая полная луна. Только теперь она не стояла на месте, а как бы летела между косматыми тучами все быстрее и быстрее.

Потом я узнал от деда, что пастух Алимхан как-то ухитрился подделать свои документы, состарить себя на два года, и сбежал на фронт. А мы с Джи так и остались в глубоком тылу до Победы, до моих настоящих зубов.

Зря не женился мой друг Алимхан на самой красивой, самой приветливой и веселой певунье Зейнаб. Наверное, он бы не убежал на войну, если бы знал, что через три года Зейнаб арестуют и на десять лет сошлют в Сибирь – за «экономическую контрреволюцию». Ее поймали на том, что во время утренней дойки она пила молоко из сосцов маленькой черной коровы.

IV

Главной среди четырех моих бабушек была Бабук. Бабуком звал ее я, младшие бабушки обращались к ней – Мария Федоровна. А дед Адам – Маня.

Бабук была невысокого роста, худенькая и, как я сейчас понимаю, довольно пожилая женщина, наверное, ей перевалило за восемьдесят. У нее было очень ясное, светлокожее лицо, немножко одутловатое, в едва приметной сетке мелких-мелких морщинок. Таковую чистую, тонкую кожу, какая была у моей Бабук, принято называть королевской. В молодости она бывает прекрасна. У Бабук были очень густые пепельно-белые волосы, такие, что издали было понятно: перед вами пожилая женщина. Да, было понятно и издали, и вблизи, что очень пожилая, если бы не глаза... Ни в детстве, ни в юности, ни в зрелые годы, ни на старости лет ни у одной женщины я не видел таких глаз: на лице восьмидесятилетней Бабук сияли, иначе не скажешь, да, именно сияли и лучились темно-карие большие глаза шестнадцатилетней девушки, перед которой весь мир едва раскрытая таинственная книга, глаза, полные доверия к жизни и восхищения каждой минутой бытия.

Такие сияли глаза, а сама Бабук была совсем другая – равнодушная и к людям, и к животным, и к растениям, и даже к погоде за окном. Главные ее слова были: «ниц ни бэнди», что в переводе с польского: «ничего не будет». Даже утром она не считала нужным заправлять свою постель, потому что «вечером все равно спать».

Застилала кровать Бабук вторая по старшинству бабушка – тетя Нюся. Притом делала это она всегда как бы мимоходом, ловко, умело, очень быстро и без тени претензий к Бабук. Та говорила, что «ниц ни бэнди», что «вечером все равно спать», а тетя Нюся приветливо улыбалась в ответ и молча застилала ее постель.

Мотором в нашей семье была тетя Нюся, но не в смысле обеспечения, а только в быту. В смысле обеспечения мотором, конечно, был мой дед Адам. Можно сказать, что семья у нас была двухмоторная. Обеспечение хлебом насущным и теплым углом под крышей в те времена было еще более хлопотным делом, чем теперь, в XXI веке. Во всяком случае, сейчас у нас в стране не лежат по обочинам умершие от голода, а тогда лежали.

Наверное, в ноябре тетя Нюся взяла меня с собой на базар. День стоял беспросветно темный, казалось, что с низко нависшего над нашими головами мглистого неба вот-вот пойдет дождь, но он все не шел и не шел. Зато прямо в лицо нам дул холодный влажный ветер.

– Моряна дует, – послунив и подняв перед своим лицом указательный палец, сказала тетя Нюся.

– Моряна девочка или тетя? – тут же спросил я.

– Моряна – ветер. Моряна дует с моря на берег, гонит накатистую волну, – чуть улыбувшись, отвечала мне тетя Нюся.

– Я думал, ветер бывает только Иван или Магомет.

– Да, северный – Иван, южный – Магомет, а моряна дует с востока, – сказала тетя Нюся, – теперь будешь знать и моряну. Запомнишь?

– Еще как! – Я тоже послунил указательный палец левой руки и поднял его над головой.

– Вот и хорошо. Не устал?

– Нисколечки!

– Тогда прибавим шагу, а то весь базар раскупят.

Сначала мы с тетей Нюсей долго шли по нескончаемому полю, разлинованному рифлеными шеренгами прикопанных на зиму виноградных лоз, потом топали по узкой песчаной дороге, на обочинах которой зеленели темные гусиные лапки и более светлые листья подорожника. Я очень нравился сам себе, потому что был одет в богатые обновки. На мне красовались новая стеганка на вате, сшитая из тонкой парусины офицерской плащ-палатки защитного цвета, такие же стеганые бурки, да еще новенькие остроносые галоши, прозванные у нас «татарскими». И «отрез» а проще говоря, кусок плащ-палатки, и галоши, конечно же, «достал» мой дед Адам, а фуфайку и бурки сшила мне рукодельница тетя Нюся. Особенно нравились мне галоши, при виде их меня прямо-таки распирало от гордости. Время от времени, освобождаясь от крепкой тети Нюсиной руки, я приостанавливался и очищал галоши от песка, чтобы они блестели: нет солнца, так пусть блестят хоть мои галоши!

Мокрый ветер дул нам в лицо, но из-за городских строений мы пока не видели моря. Наконец вошли в город, где было почти безветренно: огромные четырехэтажные дома на центральной улице стояли вдоль побережья стена к стене так, что моря мы опять не увидели. Свернули по улице налево, прошли метров сто и стали подниматься в горку по более маленьким улочкам. Скоро мы взошли на маленькое плоскогорье, отсюда я и увидел море, которое не сливалось по цвету с хмурым небом только потому, что, насколько хватало глаз, по нему бежали белые барашки гонимых к берегу невысоких, но крутых волн – моряна в тот день дула очень сильная.

По узкой каменистой улочке нам предстоял еще один подъем на новое взгорье, к базару. Вот здесь-то я и увидел мертвого. Он лежал в канаве на обочине улочки возле базара, что кружился веселой каруселью вокруг пятиглавой каменной церкви со сбитыми с куполов крестами и приспособленной под складские помещения. Толстый-толстый дядька, раздутый до такой степени, что темные штаны и рубашка лопнули на нем по швам и обнажили лилово-слидянистое тело. Дядька был босым, наверное, хоть и драную его обувь кто-то позаимствовал, а рубашку и штаны не тронули и потому, что они разлезлись, и потому, что на них были бугристые бурые подтеки чего-то застывшего на холодном ветру. Лицо и ноги у дядьки тоже были очень толстые и лилово-синие, а рот открыт, как черная дыра. Ветер дул нам в спину по ходу движения, и поэтому мы почувствовали сладковатый запах тлена, только почти поравнявшись с дядькой.

– Не смотри туда! – сильными пальцами повернула меня за макушку тетя Нюся и быстро повлекла за руку к каменной лестнице, по обе стороны которой сидели безногие и стояли безрукие инвалиды войны, а на самом верху у входа на базар бабушки торговали жареными семеч-

ками в граненых стаканах и стаканчиках. Семечки меня не интересовали, семечки были у нас свои, от подсолнухов тети Моти.

– Почему он такой жирный? – спросил я про дядьку.

– Он не жирный, а распух с голоду.

– С голоду худеют.

– Худеют с маленького голода, а с большого опухают, – твердо сказала тетя Нюся, – у нас в тридцать третьем вся станица опухла.

Мы пришли с тетей Нюсей на базар с единственной целью: купить новое стекло для нашей пятилинейной керосиновой лампы. Прежнее стекло лопнуло, мы пытались заклеивать его облатками наслонявленной газеты, но она слишком быстро прогорала – сначала рыжела, а потом чернела.

Мы купили сразу два замечательных стекла для нашей лампы и пять фитилей: с запасом на всю долгую зиму.

Я был очень рад, что тетя Нюся взяла меня в город, а тем более на базар, где было так много интересного. Я был очень рад. А тетя Нюся огорчилась, что я увидел мертвого дядьку с открытым ртом, и повела меня с базара другой дорогой.

Добытчиком в нашей семье был мой дед Адам, а почти все остальное держалось на тете Нюсе. Две младшие бабушки – Клава и Мотя – слушались ее беспрекословно. Наверное, в те времена тете Нюсе было около пятидесяти. Как я сейчас знаю, тетя Нюся была ровно на семнадцать лет моложе моего деда Адама, а Бабук ровно на 17 лет старше него. Тетя Нюся происходила из донских казаков, может быть, поэтому она так сильно любила мою маму, которая тоже была донская казачка. У тети Нюси были глубоко посаженные серые глаза, очень выразительные, а выражение в них всегда было одно и то же: полной доброжелательности и спокойствия. Почему я опять пишу о глазах? Пишу, и дальше буду писать в первую очередь о глазах, потому что глаза, как известно, – зеркало души. И это не литературный штамп, а вечно живая истина. Штампы потому и стерлись от частого употребления, что изначально являются наиболее удачными, наиболее точными выражениями. Я даже не могу сказать, красивые были глаза у тети Нюси или не очень. Во всяком случае, они были незабываемые. Даже сейчас, только вспоминая взгляд тети Нюси сквозь толщу десятилетий, я чувствую его тепло и неколебимую доброту, неколебимую никакими злодеяниями, совершенными или совершаемыми в этом мире.

В те времена происходить из казачьего роду-племени считалось опасным: многие казаки, и в их числе тетя Нюся, были лишенцами, то есть людьми, лишенными прав гражданского состояния. Лишенцы не имели права ни на труд, ни на отдых, ни на образование. Они даже не имели права защищать свою Родину! Так что моя тетя Нюся как бы была и ее как бы и не было в одно и то же время. Моя мама тоже происходила из семьи лишенцев, но потом ей как-то удалось скрыть свое происхождение – сделать это на Кавказе для русских было гораздо легче, чем в других частях России. В те времена люди заполняли всякого рода анкеты с обязательной графой – «происхождение». Заполняя эту графу, мама обозначала себя – «из семьи рабочего». И на момент заполнения ею анкет и прочих официальных бумажек в том не было никакой лжи. Ее отец, а мой дед по матери, Степан Григорьевич при советской власти действительно был «из рабочих», даже из чернорабочих. Но, все-таки, пока не о деде Степане, а о моих бабушках.

Третьей бабушкой была тетя Клава. Наверное, ей подходило к сорока годам. Рослая, худенькая, с длинными тонкими руками, но очень полногрудая, с большими зелеными глазами, в которых всегда горел неукротимый огонек надежды на скорые земные радости, с сияющей, как крохотное солнышко, золотой фиксой в левом верхнем уголке всегда чуть-чуть приоткрытых пухлых губ. За неимением губной помады она для красоты натирала губы морковкой, а иногда и бураком. За неимением пудры мазала поблескивающую пипочку своего аккуратненького носа побелкой со стены. Р-раз – мазнет указательным пальцем по стене у дверной прилолки, и тут же – по пипочке своего носа. Мазнула, и пошла себе в люди с гордо поднятой

головой. Выходя из дома, она всегда прихорашивалась, независимо от того, направлялась ли в город или только шла покурить за угол дома к курятнику, над которым был еще и навес, спасающий не только от ветра, но и от дождя. Клава тайно курила сигарки. Об этой ее тайне знали и все другие бабушки, и я, но никто ни разу не выдал Клаву деду. Порука у нас была круговая.

Тетя Клава считалась главной грамотейкой не только у нас в семье, но и на всей Центральной усадьбе. В дни своей наверняка бурной молодости она почти окончила рабфак (рабочий факультет) какого-то института в Ростове-на-Дону и всегда исправляла ошибки не только в петициях моего деда Адама, но даже и самого Франца! Кто такой Франц? Ну, это особая статья – Франц был для нас небожитель, о нем нельзя скороговоркой...

Все теплое время года (с апреля по октябрь) Клава торговала в городе газированной водой с сиропом. Время от времени у нее бывал фингал под правым глазом. Почему всегда под правым? Не знаю. Может быть, потому, что дававший ей затрещины был левша? Помимо фингалов, у Клавы бывали «недостачи». По поводу «недостач» она всегда горько плакала. Все бабушки и я горячо ей сочувствовали, а дед Адам молча отслюнивал красные тридцатки.

Четвертой бабушкой была у меня Мотя – огородница. Так прозвали ее у нас из-за того, что Мотя, она же Матрена Максимовна, содержала при доме огород, кормивший всю семью. Огород был маленький-маленький, наверное, меньше двух соток. Почему такой маленький? Да потому, что иметь большой огород в те времена было «не положено». Но и на этом крохотном клочке земли возле дома тетя Мотя успевала вырастить за долгие дни нашей ранней южной весны, за жаркое лето, за всегда погожую и теплую осень два, а то и три урожая овощей. У нас были свои картошка, зеленый лук, морковка, бурак, капуста и зелень всякого рода: петрушка, укроп, кинза, рейган, мята. Чуть не забыл огурцы – в изобилии! Но и, конечно, репчатый лук, чеснок, огненно-горький красный стручковый перец – последний специально для деда Адама: и в борщ, и в водку дед всегда клал красный горький перец и считал его важнейшим лекарством от всех болезней.

Удобрений для огорода у тети Моти было очень много, вода рядом в канаве – таскай себе и таскай ведро за ведром. Тетя Мотя использовала буквально каждый сантиметр нашего огорода, придумывала всякие штуки: что-то росло у нее в два яруса, что-то плетистое, например, огурцы поднимались по жердочкам совсем высоко, с меня, тогдашнего, ростом. Талантливый человек была тетя Мотя. Она горячо любила свой огород, и я не раз слышал, как она разговаривала со своими растениями – ласково-ласково, как будто они были ее маленькие дети, те самые, которых не дал ей Бог в ее женской судьбе.

Главными врагами огорода были наши же куры – восемь кур и голенастый красноперый петух по кличке Шах. Наверное, когда давали ему эту кличку, первоначально имелось в виду, что он как шах со своим гаремом, со своими восьмью курами. Может быть это и имелось в виду, но потом напрочь забылось и осталась одна кличка Шах и Шах – безо всяких подтекстов. Сначала куры находились под управлением тети Нюси, но потом и они перешли к тете Моте, решили, что будет правильнее держать и огород, и его врагов в одних руках.

Ни раньше, ни сейчас я не мог ответить на вопрос, почему при территории нашей великой Державы в 11 миллионов квадратных километров иметь большой огород для собственного прокормления было «не положено»? 11 миллионов квадратных километров – это 110 триллионов гектаров. Как известно, в 1 гектаре 100 соток. Если кто не поленится и умножит 110 триллионов на сто, то получатся даже не триллионы. Мне скажут: а тундра, а пустыни, а внутренние моря? Согласен, – отбросьте из 110 триллионов хоть половину! Но и тогда у нас останется много Франций и Англий беспризорной земли, способной прокормить все северное полушарие. А ведь пригодная для сельского хозяйства земля есть и в других странах Европы и Азии. Мне скажут: у нас рискованное земледелие. А я отвечу: труд земледельца рискован на всей планете – везде случаются засухи, наводнения, землетрясения, град, селевые потоки,

оползни, ураганы, смерчи, опустошающие атаки полчищ саранчи, не говоря уже об экзотических для нас цунами.

Ну, да бог с ним, что было, то сплыло. Спасибо, что хоть с конца пятидесятих годов прошлого века советская власть стала выдавать по 6 соток неудобий на семью. Ими и спасалась Россия в последние годы советской и в первые годы новой антисоветской власти.

Как я понимал тогда, в детстве, и как помню сейчас, в старости, все бабушки были у меня очень красивые. А тетя Мотя особенно! Наверное, потому, что она была самая молодая среди бабушек. Только она играла со мной в прятки, догонялки, чет-нечет. Наверняка недоиграла тетя Мотя в своем детстве, разодранном в кровь, а то и насмерть Первой мировой, а затем Гражданской войной и последующими оргмероприятиями новой власти, сменившей царскую. Наверное, тете Моте едва перевалило за тридцать. В те времена женщины этих лет уже не считались молодыми, знаменитый «балзаковский возраст», как символ увядающей женщины, начинался с тридцати. И это понятно: в те времена женщина к этому возрасту, как правило, становилась матерью пяти, а то и семи детей, а ее житейский опыт бывал очень велик.

Хотя тетя Мотя и была невелика ростом, но из-за пропорционального телосложения не казалась маленькой. Бросались в глаза ее несоразмерно большие кисти рук с широкими мозолистыми ладонями. Как я сейчас понимаю, у нее были руки потомственной крестьянки, разбитые тяжелой работой во многих поколениях. Острая на язык тетя Мотя очень любила посмеяться. Она родилась на свет с тонким чувством юмора, своего собственного, а не заемного из анекдотов, и не лезла в карман за словом. Но даже когда тетя Мотя хохотала в голос, ее светлогриые чистые глаза оставались печальными.

«Печаль моя светла, печаль моя полна тобою», – с тех пор как я узнал эту пушкинскую строку, она почему-то навсегда соединилась в моей душе с памятью о веселой тете Моте и об ее печальных глазах. Светла ли была ее печаль? Да, светла. Теперь я точно знаю, что за плечами всех четырех моих бабушек была нелегкая, а порой и страшная Жизнь, но никто из них не ожесточился!

В глазах молодой тети Моти не было столько света, как в глазах старой Бабуки, но затаенная в них светлая печаль делала и ее глаза незабываемыми. У тети Моти были правильные черты лица, белые ровные зубы, свидетельствовавшие об отменном здоровье, темно-русская коса до пояса, которую она носила уложенной на голове кольцами. Тетя Мотя хорошо пела. Голосом обладала не звонким, даже чуть-чуть глуховатым и как бы надтреснутым, мягким, душевным, кажется, такие голоса называют «грудными». Она часто пела «Распрягайте, хлопцы, кони, да лягайте спочивать...», «Ой ты, Галю, Галю молодая...». Тетя Нюся была у нас казачкой, тетя Мотя – хохлушкой, тетя Клава – кацапкой. Таким образом, в нашей семье были представлены все три основные ветви русского народа. Что касается Бабуки, то я до сих пор не знаю, какой она была национальности: немножко полька, немножко немка или литовка... Не знаю. Вообще, в те времена люди совсем не распространялись ни о своих национальностях, ни о своем происхождении, ни о судьбе своих близких, ни о своей собственной судьбе. Все старались жить как бы без корней, без прошлого, а только маленьким трудным настоящим. В большом ходу было светлое будущее: «вот кончится война...», «вот отменят карточки...», «вот-вот все улучшится чудесным образом – не сегодня и не завтра, но очень скоро...»

V

Зимы у нас бывали лютые. Хотя почти без снега и без морозов, но зато с такими ледяными мокрыми ветрами, что не спасешься и не согреешься.

Летом наш дом хоть как-то прикрывали виноградники, а зимой виноградные лозы не стояли шеренгами на высоких таркалах, а были прикопаны на случай внезапных морозов, и мы оставались открытые всем ветрам, на необозримом плоском пространстве. Летом, весной

и осенью было не все равно, дует ли с юга Магомет, с севера Иван или с востока гонит по морю белые барашки волн моряна. Летом не все равно, а зимой все едино. Зимой каждый из трех ветров пронизывал до костей, и главное наше спасение была печка, в которую мы непрерывно подкладывали кизяк.

Дед Адам не разрешал закрывать печную заслонку на ночь, боялся, как бы мы не угорели. Так что кизяк подкладывали в печь и среди ночи – то тетя Мотя, а то тетя Клава. Бабук была освобождена от этой обязанности по причине преклонных лет, а тетя Нюся потому, что у нее под боком спал я, а дед не велел меня тревожить.

«Дитяка хце», что по-польски «ребенок хочет» – эта присказка моего деда Адама делала доступным для меня очень многое.

Говорят, что до войны, когда мы якобы жили «очень хорошо», а в гараже под навесом стояло много полуторок и под началом моего деда работало много шоферов, в день моего рождения, 27 июня, дед Адам выписывал в конторе декалитр (десять литров) вина и сто куриных яиц. Светлым летним вечером тетя Нюся разводила огонь между специально устроенными для этого кирпичами во дворе и на огромной медной сковородке жарила одновременно глазунью из ста яиц. Еще к пиршественному столу подавались чуреки, зеленый перьевой лук, соль и много граненых стаканов.

Лет до трех в теплое время года я обычно рассекал пространство и время нагишом, так что и на стол меня сажали «в чем мать родила».

Когда сковородка, стоявшая посреди нашего сколоченного из обрезных досок и тщательно выскобленного стола, достаточно остывала, а празднество было в разгаре, меня сажали на стол. Под веселый гвалт лихих шоферов, не забывавших упоминать в своих по-кавказски пышных тостах о том, что для них «Адам – первый человек», я лазил руками в остатках теплой яичницы, облизывал пальцы, по которым стекало до локтей, и все смеялись.

Все, кроме Бабук, которая говорила громко-громко:

– Матка Бозка, ай-яй-яй!

А мой дед Адам горделиво и непреклонно отвечал ей:

– Дитяка хце!

До войны ни тетя Клава, ни тетя Мотя еще не жили с нами, и у меня было всего две бабушки – Бабук и тетя Нюся. Как я сейчас знаю, немцы захватили Таганрог 17 октября 1941 года. (Удивительно, с какой непостижимой быстротой двигался враг по нашей земле.) Значит, тетя Клава и тетя Мотя эвакуировались еще раньше. Как они нашли моего деда и почему именно его, я понятия не имею. Могу только предположить, что в свое время они были его любовницами, а когда бежали от немцев и прибежали к нам, стали женами. Как я сейчас понимаю, мой дед Адам взял их в семью потому, что иначе они могли погибнуть. «Кусок хлеба» в те времена был не фигура речи, а грань между жизнью и смертью.

Наверное, и Бабук, и тете Нюсе, и тете Клаве, и тете Моте было непросто ладить между собой, но они ладили. Во всяком случае, я не припомню никаких скандалов. Тем более что мой дед Адам скандалистом не был. Я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос хоть на одну из моих бабушек. Никогда. Только поведет седеющей бровью и всё, в доме – полный порядок. Я знал всегда и осознаю теперь, что все четыре бабушки горячо любили меня. Я всегда отвечал им взаимностью и до сих пор не разделяю их в своей душе, хотя все они были очень разные женщины с непохожими судьбами и характерами.

Как я уже говорил, Бабук была старше моего деда на 17 лет. На момент их свадьбы Бабук было 34, а деду 17.

Мой дед Адам родился в самом древнем польском городе Калише, когда его матери едва исполнилось 16. Как звали его мать, а мою прабабушку, я не знаю, потому что имя ее Бабук никогда не произносила, а всегда говорила о свекрови «она». Тут важно заметить, что свекровь была на год моложе невестки.

Об отце моего деда, а моем прадеде я тем более ничего не знаю, почти ничего, если не считать, что осели в памяти какие-то намеки на то, что он был «ясновельможный пан» и «pulkownik», то есть полковник – весьма высокий чин в царской армии, а тем более для поляка, которых чинами не баловали. После восстания Костюшки в 1863 году в Российской империи было принято за правило посылать непокорную шляхту служить на Кавказ под пули горцев, а крестьянство отправляли на постоянное место жительства в Сибирь, в основном в Красноярский край. Например, известное село Шушенское – сплошь польское.

А что касается моего прадеда, то он служил в Темир-Хан-Шуре, где находился большой гарнизон царской армии. В конце XIX и начале XX века в Темир-Хан-Шуре было две православные церкви, один костел, одна армянская церковь, две мечети и две синагоги. До революции этот небольшой город был столицей Дагестана, а получил свое название в честь Тамерлана. Темир-Хан – Тамерлан, а Шура по-даргински озеро, то есть озеро Тамерлана. Точно известно, что в 1396 году войска Тамерлана стояли лагерем вокруг живописного озера в горах, отсюда и произошло название местности.

В середине XIX века озеро осушили и на его территории, включая бывшие берега, довольно скоро возник город Темир-Хан-Шура (озеро Тамерлана), который теперь называется Буйнакск.

Тот факт, что на рубеже XX века в городе Темир-Хан-Шуре с населением 9 тысяч человек (из которых 2,5 тысячи приходилось на гарнизон) действовал польский католический костел, ясно дает понять, что присутствие поляков в тогдашней столице Дагестана было отнюдь не единичным и, к тому же, польская община обладала достаточными средствами, чтобы содержать свой храм.

Да, кстати, о Тамерлане-завоевателе. По роду своей профессии я кое-что знаю и держу в памяти о многих исторических лицах, живших на этой земле сотни, а то и тысячи лет назад, как в библейский, так и в добиблейский периоды. Например, меня поразило последнее желание Тамерлана, высказанное им перед смертью. Он велел, чтобы прежде, чем предать тело земле, его обнесли по завоеванным им землям с свободными от савана руками, устроенными так, чтобы они были подняты вверх и ладони их открыты.

– Пусть мир знает, что я ничего не унес с собою в могилу, – сказал Тамерлан. – Пусть все это увидят и хорошенько подумают.

По профессии я археолог, отдал этой работе много лет. И, наверное, поэтому кое-что из моего историко-археологического багажа всплывает в памяти как бы само собой, не спросясь. Очень похоже на то, как говорит одна моя знакомая о своих великовозрастных деточках: «Я не управляю этим процессом».

Думаю, что я состоялся в своей профессии. О таких принято говорить с почтительной иронией в голосе: «широко известный в узких кругах». Я с 37 лет – профессор. Мои печатные труды на русском и некоторых других языках занимают целую полку, не большую, но и не маленькую, а стандартную. Кто помнит советские времена, должен помнить и так называемые чешские книжные полки. Они тогда были в большом дефиците, впрочем, как и приличные книги. Моя профессия позволила мне побывать и поработать в Европе, Азии, Африке, в обеих Америках. В Австралии и в Антарктиде не был, хотя и надеялся побывать. Убежден, что особенно в Антарктиде есть работенка для нашего брата – археолога.

Но вернемся на Кавказ, в мое детство, к моим четырем бабушкам.

Три старших сына Бабук – Тадеуш, Сигизмунд, Лех – умерли в детстве, а двое младших – мой отец и мой дядя – были сосланы перед большой войной «туда, не знаю куда», а формально – «без права переписки». Когда давали такую статью, люди догадывались, что это может означать расстрел. Хотя потом выяснилось, что расстреливали не всех. Например, мой дядя Казимир вернулся в 1953 году. Его спасло то, что все эти годы он работал шофером где-то на рудниках, кажется, возил какие-то грузы из Монголии в СССР. Так что в судьбе Бабук были настолько

невосполнимые потери, что можно понять ее равнодушие к оставшейся жизни. Да и тетя Нюся в качестве второй жены ее мужа Адама появилась очень давно. Тот сентябрьский день 1923 года Бабук всегда помнила, расписанный по минутам.

VI

Летом меня каждый день заставляли мыть ноги. Наливали в маленький медный таз нагрешуюся на солнце, отстоявшуюся воду из большой железной бочки возле курятника и заставляли.

Почему-то у нас было много медной посуды, которая сейчас совсем не в ходу. Наверное, все наши медные кастрюли разной емкости, большие и маленькие тазы, ковшики, сковородки, кружки и чайники «достал» где-то в городе мой дед Адам. Конечно он, кому еще такое под силу? И я смутно припоминаю, что, кажется, дед «достал» их чуть ли не через самого Франца!!!

Не было у нас только медного самовара. Все четыре бабушки сожалели об этом, и однажды мой дед Адам сказал, что «самовар будет».

– От Франца? – робко спросила Бабук.

– Нет, от одного человека, – отвечал дед Адам.

Всякий раз, отправляясь в город, дед обычно говорил:

– Я в одно место, к одному человеку.

Никто из нас пока не видел ни Франца, ни этого самого «одного человека». Но в могущество того и другого мы все верили свято.

Однажды, в теплый погожий день ранней осени, дед в очередной раз отправился в город – «в одно место, к одному человеку». На закате дня он вернулся домой с каким-то несуразным предметом на плече, довольно большим и странным на вид серо-зеленым предметом и какой-то черной трубой коленом.

– Вот вам ломовский самовар, – ставя предмет на землю перед нашим домом, сказал дед.

– Да ему сто лет в обед, – прыснула смешливая тетя Клава.

– Я и говорю – ломовский самовар, – не обращая внимания на тетю Клаву, сказал дед. – Чай в нем самый вкусный, князья пили.

Похожие самовары я встречал потом только в музеях. Самовар был этакий круглый пузан с большими удобными ручками по бокам и увенчанный, как короной, подставкой для заварного чайника, а в ней конфоркой, заодно скрывающей внутреннюю трубу, в которую полагалось класть древесные угли. Дров у нас не было, и мы клали мелко порубленные и расщепленные старые виноградные лозы. Они тоже горели хорошо, и уголь давали жаркий, долгий, такой, как надо. Виноградные лозины бывали довольно толстые, с мое запястье, а попадались и еще толще. Для самовара мы специально отбирали как можно толще – для жара. Главное в самоваре – жар и запах раскаленных углей. Может быть, из-за этого запаха я и стал археологом? Не исключаю. В запахе горячей и тлеющей в самоваре виноградной лозы мне чудилось что-то первобытное, древнее, какие-то давно забытые люди каких-то давно забытых времен. Это ощущение прочно запало в мою детскую душу, и, может быть, именно оно пробудило во мне интерес к истории и археологии, вместе взятым. Да, я согласен, что сплошь и рядом история всего лишь «мнение победителей». Согласен и с тем, что еще со времен египетских фараонов и раньше в архивы нередко закладывались заведомо ложные сведения, поэтому я настороженно отношусь к архивам. Но ведь об археологии не скажешь этого столь категорично, хотя и тут встречаются искусные подделки. Встречаются. Но все-таки в истории их многократно больше, чем в археологии. Я рад, что с молодых ногтей выбрал археологию и, как говорится, прожил жизнь на своей улице, весьма далекой от суеты и злобы дня.

Но как я не любил мыть ноги!

Что касается мытья моих ног, тут все четыре бабушки были непреклонны и единодушны. Даже далекая от наших семейных хлопот тетя Клава, и та не забывала воскликнуть:

– В доме четыре женщины, а у единственного ребенка цыпки!

И все они дружно боролись с моими цыпками. Каждый вечер наливали в медный таз теплую воду, давали мне кусок пемзы и темный обмылок. Пемзой я должен был тереть пятки, а обмылком мылить ноги до колен. Намылив ноги, я, вместо того чтобы тереть пемзой свои пятки, тер днище медного таза. Мне нравился скрежет, нравилось, что можно было рисовать по медному днищу всякие штуки, например моего друга Джи. Бабук слышала плоховато, и я ее не раздражал, тетя Мотя была молодая и крепилась, тетя Клава, как правило, по вечерам еще торговала в городе газировкой, одна только тетя Нюся вскипала время от времени:

– Ты что трешь? Пятки три, а не тазик! Или мне потереть?

– Не надо, я сам потру, – уныло соглашался я с тетей Нюсей и еще более уныло начинал тереть пемзой свои пятки. Хотя зачем их тереть, если завтра все равно во двор? Этого я не мог взять в толк, и так и засыпал с ногами в тазу и пемзой в руке.

Самоваром заведовала тетя Нюся, во-первых, потому, что когда-то давным-давно у нее в родительском доме был свой самовар, а во-вторых, потому, что она у нас была главной по хозяйству и чем хотела, тем и заведовала.

Когда вечером дед Адам принес этот тяжеленный серо-зеленый предмет, названный им самоваром, я с сомнением подумал, что из такого грязного пузана вряд ли можно пить чай. А проснувшись утром, не поверил своим глазам. На столе ослепительно сияло что-то невероятное! Я и не понял сразу, что это за штука такая и откуда она взялась? Обычно, проснувшись, я долго валялся в кровати и радовался ее необъятным просторам – тетя Нюся всегда вставала рано, и ее уже давно не было рядом со мной. Да, обычно я валялся в кровати, а тут вскочил и подбежал к столу. Я даже не понял сразу, что это такое.

– Нравится тебе наш самовар? – спросила меня вошедшая со двора тетя Нюся.

– Красивый, – чуть слышно проговорил я и тут же добавил более громким голосом: – Откуда у нас такой?

– Вчера Ада принес. Ты же видел и трогал его руками.

За глаза и в глаза все четыре бабушки и я звали деда Адама коротко – Ада.

– Вот этот?! – недоверчиво потрогал я пальцами стоящий на столе самовар. – Он золотой?!

– Медный. Просто я его хорошенько помыла и отчистила. Если тебя как следует помыть, ты тоже будешь у нас очень красивый мальчик.

– Не надо меня мыть, – буркнул я, отходя от стола, – а как в этом самоваре чай пьют?

– Ты умойся сначала, потом мы с тобой поставим самовар и будем учиться пить из него чай.

– Ладно, – охотно согласился я, решив, что ради такого случая можно и умыться, а не тянуть с этим делом как обычно.

На дворе было еще совсем не жарко. Довольно большое солнце стояло далеко за виноградниками, посылая на землю ровный и мягкий свет. Я знал, что, пока солнце большое, лучи его не такие жгучие, как тогда, когда оно становится белым, маленьким и замирает в зените. Со стороны гор дул теплый южный ветер Магомет, дул не сильно, а ласково. Выйдя за порог, я с наслаждением потянулся всем своим маленьким гибким телом. Летом умывальник стоял во дворе, вернее, висел на деревянном столбе, там же висело чистое полотенце и была приделана маленькая фанерная полка, где лежал маленький кусочек темного мыла, которым, кстати сказать, я старался не пользоваться.

– Шею мой, шею! – вынося из дома сияющий самовар красной меди, не забыла командовать мне тетя Нюся.

– Уже два раза мыл, – вяло огрызнулся я, но все-таки провел мокрыми ладошками по своей шее, от чего мне стало так щекотно, что я засмеялся. Быстро вытерся, повесил полотенце на гвоздь и побежал следом за тетей Нюсей к нашей летней кухне.

Мы долго думали, чем топить самовар, не кизяком же? Потом я вдруг выпалил:

– А виноградными палками?

– Какой молодец, умница! Конечно, виноградной лозой! Иди притащи, она за курятником сложена.

– Знаю, – весело откликнулся я и побежал к курятнику, невероятно гордый от того, что мое предложение принято.

Когда с охапкой лозы я вернулся к самовару, тетя Нюся успела налить в него родниковую воду. Родник был далеко от нас, в ауле под синей горой. Перед утренней дойкой коров в контору и нам привозил воду в своей белой цистерне счетовод Муслим на белой кобыле Сильве. Вода из родника была очень вкусная.

– А теперь давай-ка мы эту лозу расщепим на тонкие палочки. Я буду надрезать ее ножом, а ты разрывай руками дальше, до конца. Хватит силенок?

Дело для меня было новое, и на всякий случай я уклонился от ответа.

Тетя Нюся расщепила большим острым ножом много кусков лозы, а я потом разорвал их окончательно. Скоро у нас получилась порядочная куча самоварного топлива.

Расщепленная лоза пахла так вкусно, как будто она была не из дерева, а из самых первых, самых нежных, еще покрытых легчайшим пушком апрельских листочков винограда. Обычно они появлялись в конце апреля – в начале мая. Я любил растирать их в ладонях и нюхать.

И вот настал самый ответственный момент – мы начали разжигать самовар.

– Давай сначала я, а ты смотри и учись, – сказала тетя Нюся, – раз пять разожгу, а потом и ты попробуешь. Согласен?

Я утвердительно кивнул головой, хотя и подумал, что вряд ли тете Нюсе надо разжигать самовар пять раз, и трех бы вполне хватило. К тому времени я уже без запинки считал до ста, складывал, вычитал, перемножал и делил любые однозначные числа. Всему этому исподволь, совсем незаметно обучила меня тетя Нюся. Всему хорошему и важному она учила меня без нажима, как-то само собой, между прочим.

Первым делом тетя Нюся подожгла тонкую длинную полоску виноградной лозы и опустила ее во внутреннюю трубу самовара. Точно также подожгла и опустила в трубу вторую полоску, третью, пятую, десятую. Потом начала опускать полоски потолще и не поджигала их. Из трубы валил душистый белесый дым и реял в лучах солнечного света – это было очень красиво, а самовар тем временем разгорался все веселей. Скоро самовар зашумел, и тетя Нюся, положив еще чуть-чуть виноградных лозин, закрыла трубу конфоркой. Скоро мы услышали, как закипает в самоваре вода, а потом увидели, как бьет из маленькой дырочки в крышке тонкая струйка пара.

– Вот и готово! – радостно улыбнувшись мне, сказала тетя Нюся. – Иди скажи Бабук, что чай будем пить в доме, там пока попрохладнее. А тете Моте скажи, чтобы достала сахарин, она знает, где он лежит. И там, на печке, стоят накрытые тарелкой пышки, а сверху полотенце, чтоб не остыли.

Самовар был тяжелый сам по себе, да еще в нем ведро воды, но тетя Нюся внесла его в дом легко. Она была хрупкая, но очень сильная женщина.

Самовар водрузили посреди стола. Тетя Мотя заварила из него в маленьком чайничке мяту, душицу и мелису. Она всегда говорила, что заваривает, поэтому я и помню. Маленький чайничек был тоже медный. До фарфорового мы еще не дожили.

Первый чай из самовара мы сели пить четвером: Бабук, тетя Нюся, тетя Мотя и я. Дед Адам опять ушел в город «в одно место, к одному человеку», а тетя Клава торговала там же газировкой с сиропом.

Чай из самовара разливала по чашкам сама тетя Нюся, а тетя Мотя разливала заварку из маленького чайничка, тоже очищенного и сияющего рядом с пузатым самоваром, как его маленький младший брат.

Еще осенью дед Адам «достал» знаменитую канадскую муку, и пышки у нас на столе были очень белые, пухлые, хотя и не такие вкусные, как из нашей обычной русской муки. Но ничего русского мы давно не видели: мука была канадская, сахарин и маргарин американские. Как я сейчас знаю, все эти и многие другие продукты, механизмы вроде грузовиков студебекер и мотоциклов харлей, самолеты, танки, орудия, боеприпасы мы получали из Америки по так называемому ленд-лизу. А яснее, по договору о займе и аренде: lend – давать взаймы, leased – давать в аренду. Не хочу показаться неблагодарным, помощь во время Второй мировой войны оказывали нам США громадную, но все-таки, как ученый-зануда, не могу не заметить, что расплачивался СССР по этим долгам только рудами редких металлов, золотом, платиной, пушниной. Как я сейчас понимаю, управителям США всегда были по душе простые ценности.

Перед тем, как тетя Нюся унесла в дом самовар, проворная тетя Мотя успела выгнать из нашей большой комнаты мух и закрыть окна. Когда мы играли с тетей Мотей в догонялки, мне очень трудно было ее поймать. Вроде казалось – вот она, поймал, но тетя Мотя в последнюю долю секунды почти всегда успевала увернуться. Я не обижался и не злился за это, а наоборот, гордился тем, что она не поддается мне как маленькому, а играет честно, как с равным.

Бабук попросила налить ей только половину чашки, а всем остальным тетя Нюся налила по полной. Дело в том, что все мы пили и раньше чай из блюдца, а Бабук никогда его в блюдце не наливала. А в свою половину чашки дула, ждала, пока чуть остынет, и пила маленькими беззвучными глотками. Глядя на нее, и тетя Нюся, и тетя Клава тоже научились пить чай негромко, и теперь все трое дружно обучали этому умению меня, который все еще хлюпал нещадно.

– Ты что хлюпаешь? – спрашивала тетя Нюся.

– Горячий, – отвечал я.

– А у тебя ветер под носом для чего? – подключалась тетя Мотя. – Дуй как следует!

– И не тяни, – заканчивала цикл обучения Бабук, – не тяни в себя, а пей маленькими глотками.

Обычно Бабук говорила с сильным польским, или немецким, или литовским акцентом, а когда поучала меня, каждое слово звучало у нее на чистом русском языке. Наверное, тут автоматически срабатывала ее профессия гувернантки. До того, как выйти замуж за моего деда, она многие годы работала старшей гувернанткой в семье таганрогского миллионера – владельца многих ссылок грека Сократа Демантиди и воспитала пятерых его детей. Она обучала их не только хорошим манерам, умению есть и пить, но и русскому, немецкому, французскому и греческому языкам. К сожалению, об этом я узнал только после смерти Бабук. На моей памяти она ни разу не обронила ни одного французского, ни одного немецкого, ни одного греческого слова, а говорила только по-русски с польскими вставками или чисто по-русски, когда речь шла о моем обучении хорошим манерам. Как я сейчас понимаю, в описываемые мной времена люди были настолько закрыты даже для ближних, что это трудно себе представить.

Разве за себя, любимую, боялась Бабук? Конечно, нет. У нее давно все отняли. Три старших сына умерли еще до революции 1917 года. Двух младших сыновей она шесть лет растила одна без мужа, да и когда он вдруг явился из бездны в 1923 году, то явился не один, а с молодой женой Анной, которая поделила с ним дни странствий фактически из одного мира в другой. Вырастила Бабук двух младших сыновей, претерпела и свыклась с тетей Нюсей, а тут обоих ее мальчиков угнали в неволю «без права переписки», молодых, красивых, умных, бесконечно родных ее деток – последнюю радость на этом свете. Слава богу, родился я, и Бабук как бы снова зацепилась за жизнь кончиками пальцев. Нет, не за себя, а за меня боялась Бабук – мало ли каким боком могло выйти нечаянно оброненное ею слово, а тем более знание многих слов на других языках.

В те времена никто из бывших кем-то в «старые времена» не козырял своими знаниями чего бы то ни было, а тем более иностранных языков. Эти знания были опасны для жизни в самом прямом физическом смысле понятия опасности. Люди жили каждый в своей скорлупе, прямо по поговорке: «береженого Бог бережет».

– Вкусный ты завариваешь чай, Мотя, – похвалила тетя Нюся, – у нас в станице мама похожий заваривала, только еще с листьями смородины.

– Смородины туточки нема, – улыбнулась молодая тетя Мотя, радуясь похвале уважаемой ею тети Нюси. Улыбнулась от души, но при этом ее светло-карие глаза так и остались печальными.

Солнце пока стояло на востоке, а окна нашей большой комнаты выходили на юг, так что, хотя и наступил июль, у нас еще было прохладно и хорошо с утра, а на день тетя Мотя или тетя Нюся занавешивали окна ватными одеялами, притом так плотно, чтобы ни один лучик солнца не проникал в комнаты. Мы все были южане и знали, как бороться с жарой, что ей противопоставить: прежде всего, чистоту и порядок. Стены и потолок внутри нашего дома тетя Нюся и тетя Мотя белили каждый месяц, а наш земляной пол подмазывали свежей глиной каждую неделю, а наш сколоченный из обрезных досок стол скоблили ножом и мыли до вкусного бела через день, а меня, бедного, заставляли мыть ноги каждый вечер, а утром еще и умываться с мылом.

Вкусный был чай из самовара, ничего не скажешь. А какие смешные лица отражались в зеркально сияющей меди его округлой поверхности! Глядя на эти вытянутые, кособокие лица, мы все смеялись с удовольствием, даже Бабук.

Первое чаепитие из нашего самовара удалось на славу.

VII

Много лет работая в археологических экспедициях и у нас в СССР, и в других странах мира, я невольно задумывался над тем, какую роль играли предметы домашнего обихода в жизни людей, и что это были за люди, и как они ладили между собой?

Откопав какой-нибудь бронзовый гребень со сломанным зубчиком, я живо воображал юную девушку с этим гребнем в руке и всю ее дальнейшую жизнь среди соплеменников. Моя профессия располагает к воображению и к пониманию сиюминутности бытия, когда каждый отдельный день может длиться мучительно долго, а вся жизнь пролетает в мгновение ока. Как говорила по этому поводу моя дорогая тетя Нюся: «Утром встаешь – понедельник, а спать ложишься – суббота». Или еще она говорила: «Заснула девочкой, проснулась бабушкой – и куда оно все утекает, в какие тартарары?!»

Говоря о предметах домашнего обихода: посуде, утвари, гребнях, безделушках и т. д., и т. п., я, конечно, держу в уме и наш славный самовар, его роль в жизни нашей семьи. Вкусный чай мы пили из него и летом, и осенью, а вот настоящей радостью он стал для нас зимою. Долгими зимними вечерами горячий чай на столе был для каждого из нас верным источником общего тепла и наслаждения. Да еще и веселья от того, как причудливо отражались наши лица в изогнутом медном зеркале самоварной глади.

Зимой самовар разжигала в коридорчике тетя Мотя. По ходу дела она надевала на него трубу коленом, в виде заглавной буквы «Г», и, занеся самовар из коридорчика в дом, засовывала верхнюю часть колена в дымоход нашей печки, которая топилась кизяком. Кизяк хоть и легкий и прогорает быстро, но зато горит очень хорошо, сильно, так, что зимой чугунная плита нашей печки была почти всегда малиновая и по ней бегали золотые мушки искорок. Как они ни старались, но пока тетя Мотя и тетя Нюся прилаживали самоварную трубу к дымоходу, в дом все-таки попадал дымок горящей виноградной лозы. Но этот дымок все находили очень вкусным, и никто не жаловался.

Зимой смеркалось очень рано, а часов в пять дня бывало уже темным-темно. Как правило, со стороны моря дул сильный пронизывающий до кости ветер – мокрый, тяжелый, очень противный. На ночь глядя у нас обычно не ужинали, а обходились чаем с сахарином, иногда с пышками, которые тетя Нюся пекла замечательно, а перед чаем ставила их на несколько минут в духовку, и в комнате воцарялся такой вкусный хлебный дух, что сразу все веселили и забывали свои личные тяготы во имя радости общего застолья.

По воскресеньям тетя Нюся делала бураки, как принято называть их у нас на Юге, или сахарную свеклу, как называют их в Центральной России. Сначала она бураки варила, потом освобождала от кожицы, потом резала соломкой, посыпала растертой в порошок мятой, а затем сушила в духовке, и получались такие хрустики, мятные конфеты. Мне они очень нравились. Обычно мы за вечерним чаем уплетали полную глубокую тарелку этих самодельных конфет.

Тетя Нюся, тетя Клава и тетя Мотя были между собой на «ты», а Бабук все они называли Мария Федоровна и на «Вы». Она тоже называла их по имени-отчеству и на «Вы». Таким образом, я узнал и запомнил, что тетя Нюся – Анна Михайловна, тетя Клава – Клавдия Ивановна, тетя Мотя – Матрена Максимовна. Деда Адама Бабук звала на польский манер Адашь, а он ее на русский – Маня.

Время от времени тетя Мотя выходила в коридорчик и приносила заранее припасенный там кизяк. Я любил смотреть и в топку нашей печи, когда в нее подкладывали, и на раскаленную чугунную плиту. Хотя на столе у нас и горела пятилинейная керосиновая лампа, печка тоже давала не только тепло, но и свет. Между прочим, свет давал и наш начищенный пузатый самовар из красной меди. Наверное, тогда, глядя вечерами на самовар, я понял, что такое отраженный свет, и почувствовал, что он может быть даже красивее первоисточника – желтого света керосиновой лампы. Да, может быть богаче, ярче, красивее, но убери первоисточник, и отраженного света как не бывало. Что-то похожее на искусство и жизнь: убери жизнь, и нечего будет отражать, кроме пустоты.

После чая, который мы пили все вместе, наша компания распадалась на части. Бабушки оставались за столом играть в карты. Я разувался и залезал на кровать играть поверх одеяла в солдатиков, вырезанных из газеты. Дед Адам начинал ходить из угла в угол: туда-сюда, туда-сюда.

Бабушки играли в подкидного дурака. Не каждая за себя, а двое на двое: Бабук с Мотей, а Нюся с Клавой. Наверное, таким образом примерно уравнивался общий возраст противоборствующих команд.

Мой дед Адам в молодости был профессиональным картежником, известным во всем Ростове, и никогда не садился с бабушками за карты, видимо, считал это ниже своего игроцкого достоинства.

Как я сейчас понимаю, мой дед Адам не был игроголиком – человеком, для которого игра – это все, можно сказать, вся вселенная во всех ее измерениях. Такие люди иногда играют очень хорошо, но так самозабвенно, что не способны противостоять матерым профессионалам, которые и в момент игры могут взглянуть и на нее, и на себя как бы со стороны, а значит, трезво оценить те или иные шансы, возможности.

Игра в карты требует не только ловкости ума и рук, но и недюженных актерских способностей, а главное, твердого характера, который позволяет принимать решения в долю секунды, не колеблясь, не дрогнув ни единым мускулом на лице.

Мой дед Адам прожил долгую жизнь, полную многих опасных приключений. Да, в молодости он играл в карты в богатых домах Ростова и был известен как «Белый Адашь». Белый – потому, что никто и никогда не поймал его на мухлевке или, говоря литературным языком, на шулерстве. Наверное, кличка произошла от понятия «белые одежды», то есть человек в белом, чистый, незапятнанный неблагоприятными поступками, во всяком случае, не ловленный. Белый Адашь много выигрывал, немало проигрывал, всяко бывало. Почему-то еще в конце XIX

века, на самой заре авиации и автомобилестроения, поляки пошли в эти новейшие отрасли. Примеров тому множество: от великого Сикорского до комедийного Козлевича. И мой дед Адам тоже был тут среди пионеров автомобилевождения. В двенадцать лет мать привезла его из Калиша в Ростов, а в двадцать он уже стал шофером, возил какого-то высокого царского сановника на Северном Кавказе и получал в месяц сто пятьдесят рублей золотом. В те времена не было собственно водителей, а были шоферы – автомеханики, то есть люди, разбиравшиеся в автомашинах досконально.

Но пока вернемся к картежным играм. Играл ли дед в старости? Наверное, играл. Во всяком случае, я помню, что у него бывали нераспечатанные колоды карт. Может быть, он играл с Францем? Не знаю. Что-то смутное мерещится в памяти по этому поводу, но утверждать не берусь.

Однажды, поздней весной, возвратившись утром из города в очень хорошем настроении, дед показал всем нам фокус, которого я больше никогда не видел. Он распечатал колоду карт и спросил:

– Сколько карт снять? Три, пять, десять, двадцать?

– Семь! – первым выкрикнул я.

Держа колоду в левой руке, дед снял несколько карт правой и протянул их мне:

– Считай.

– Семь, – сосчитал я.

– Кому еще снять? – спросил дед, беря у меня карты.

– Одиннадцать! – выкрикнула тетя Мотя.

Дед снял из колоды и протянул снятые карты тете Моте.

– Одиннадцать! – не веря своим глазам, пролепетала она.

Потом задавали свои числа тетя Нюся, тетя Клава.

И каждый раз дед одним движением руки снимал из полной колоды столько карт, сколько они заказывали.

Бабук ничего не стала заказывать, по ее глазам было件нятно, что этот фокус она уже видела в исполнении своего Адася.

Сколько я ни просил, больше дед Адам никогда не показывал ни этот, ни какие-то другие карточные фокусы.

Как я сейчас понимаю, дело было вовсе не в фокусе, а в том, что пальцы рук моего деда Адама были настолько чувствительны, а опыт его работы с картами так велик, что он до доли миллиметра осязал, сколько карт берет. Наверное, так, другого объяснения я не нахожу. Тем более что сейчас и сам знаю: руки человеческие гораздо более точный инструмент, чем его глаза.

А долгими, зимними вечерами мой дед Адам стремительно шагал по комнате, бабушки играли в подкидного дурака. Их лица и пятилинейная керосиновая лампа, и малиновая плита нашей печки причудливо отражались в выпуклой зеркальной глади нашего медного самовара. Я не отражался – от кровати было слишком далеко до стола, а мой дед Адам, поравнявшись с самоваром, закрывал собой общую картину, но тут же опять открывал ее.

Моя кровать, а вернее, наша с тетей Нюсей, стояла далеко от света лампы, и от отсветов малиновой плиты, и от таинственного сияния самовара, но я тогда был зоркий и хорошо видел и наших, и немецких солдатиков, вырезанных из газеты. Немецкие отличались тем, что по их головам была проведена черная полоса. В общем, мне было хорошо на кровати в дальнем углу, вот только дед своим мельтешением мешал, но я не решался сделать замечание деду Адаму. Судя по лицам бабушек, они хоть иногда и поджимали губы, но тоже не решались. А дед все ходил и ходил: туда-сюда, туда-сюда. Руки за спиной, корпус чуть наклонен вперед, и весь он как бы даже и не ходит по комнате, а почти летает, вместе со своей косматой тенью, переламывающейся на потолке.

VIII

Чуть выше среднего роста, сухощавый, неуловимо изящный в движениях и по комнате, и по двору, и по улицам города, мой дед Адам ходил так быстро, что, например, мне приходилось бегать за ним трусцой. Глаза у него были ярко-синие, миндалевидные, черты лица правильные, лоб чистый, в меру высокий, нос крупноватый, но хорошей формы. Немножко бросались в глаза его большие уши талантливого человека, но не лопухие, а достаточно прижатые к вискам и от этого не портящие общего впечатления. А в его каштановых густых волосах так молодо блестела серебряная седина, а зубы были не только все свои, но и плотно стоящие и такие белые, что невозможно было поверить в его шестьдесят с хвостиком. Это я сейчас пишу «мой дед Адам», а тогда ни мне, ни бабушкам не могло прийти в голову называть его дедом. Мы все звали его просто Ада, и никто из нас не задумывался о его возрасте. Хотя, наверное, Бабушек задумывалась, она ведь знала его с юности, когда у него только пробились усики и, уже будучи женатым на ней, он впервые побрился.

Все мое поколение в большинстве своем – Иваны, не помнящие родства. И не потому, что в детстве и юности мы были такие глупые, что не расспрашивали о своей родословной старших, а потому, что старшие все от нас скрывали, опасаясь не за себя, а за нас, способных по молодости и по глупости проболтаться о чем угодно, о любой тайне. А тайн в те времена у людей было много. Например, мой дед Адам как-то, не зная, что я проснулся и слушаю, рассказывал тете Моте, как он «в шипшадцатом годе был приговорен к вешальнице и лежал три недели в подпольнице с парабелюмом».

Дед Адам сидел ко мне спиной, а тетя Мотя хотя и в полоборота, но все-таки лицом, и я увидел, как она поднесла палец к губам, сделала деду жест сомкнуть уста. И он тут же сомкнул их и, резко встав из-за стола, вышел из комнаты.

Мой дед Адам ложился поздно, вставал на заре, мало и очень опрятно ел, любил борщ с обжигающим красным стручковым перцем и жирное мясо, которое иногда бывало у нас все через того же всемогущего Франца. Дед не курил, осуждал пьяниц, а себя считал абсолютным трезвенником, что не мешало ему каждый день за обедом выпивать по три граненые стопки водки, то есть грамм 150. Пообедав, дед ложился прикорнуть и спал ровно один час, после чего возобновлял свою кипучую деятельность с новой силой.

В одежде дед также отличался опрятностью – тут и тетя Нюся, и тетя Мотя были на высоте, в смысле обстиривания, обглаживания, пришивания пуговиц и т. д., и т. п. Одежка у деда, конечно, была не ахти какая, но всегда свежая, чистая. Самым дорогим предметом в его гардеробе были высокие яловые сапоги, которые на зимнюю ночь ставились на просушку к печке вместе с портянками. Каким-то удивительным образом ноги у деда совсем не потели, и его портянки всегда пахли фланелью, а не потом. Эта физиологическая особенность передалась и мне. У меня тоже никогда не потеют ноги, так что я, безусловно, прямой наследник моего деда Адама.

Вспоминая сейчас облик моего деда, я думаю, что он был похож на патриция, переодетшегося простолюдином. Да-да, именно на патриция, попавшего «не в свою тарелку», в чуждые ему, так сказать, и среду, и эпоху.

Отца своего дед Адам никогда не видел и, как незаконнорожденный, носил фамилию матери, а откуда у него взялось отчество Семенович, я не знаю. Во всяком случае, я уверен, что его отца никак не могли звать Семеном. Проживая в древнем городе Калише, мать моего деда с юных лет работала служанкой в каком-то богатом доме каких-то знатных поляков, где и понесла от хозяйского сыночка, от «ясновельможного пана», ставшего затем полковником и служившего на Кавказе, кажется, в Темир-Хан-Шуре и Ростове-на-Дону.

По сегодняшним моим подсчетам, дед Адам родился в 1880 году, а скорее всего, чуть раньше. Он ведь женился на Бабук еще в XIX веке, а на рубеже XX века уже был автомобилистом и известным во всем Ростове Белым Адасем.

К сожалению, я не знаю имени матери моего деда, потому что Бабук всегда называла ее – «она». Она привезла моего деда из Калиша в Ростов, когда ему было двенадцать лет. Она работала вместе с Бабук у грека-миллионера Демантиди. В те времена, как и сейчас, в богатые дома не брали с улицы, значит, у нее был солидный рекомедатель. Скорее всего, отец моего деда «ясновельможный пан». Жаль, что я никогда не расспрашивал об этом ни Бабук, ни моего деда Адама. А почему не расспрашивал? А просто мне в голову не приходили такие вопросы. Я жил своей детской, подростковой, юношеской жизнью и был свято уверен в те времена, что центр мироздания проходит непосредственно через мой пуп. Потом умерла Бабук, потом я с грехом пополам закончил школу, работал на заводе, потом я пошел в армию, потом поступил в московский институт, а потом суп с котом... «Все мы ленивы и нелюбопытны» – лучше Пушкина, увы, не скажешь.

IX

Хотя в моем дальнем углу, где я восседал на кровати поверх лоскутного одеяла долгими зимними вечерами, было и темновато, но мне это даже нравилось. В таинственной полутьме гораздо интереснее, чем при свете, перемещать боевые порядки как наших, так и немецких солдатиков с черными полосами на головах. У наших были на головах красные полосы, у немецких черные. А еще, в засаде, в складках одеяла, у меня всегда пряталось немножко партизан с зелеными полосками на головах. Обычно партизаны и решали дело в сражениях. И это понятно, потому что среди них был мой отец – «без вести пропавший». То есть живой и здоровый, но не имеющий возможности подать мне весть о себе. Тетя Нюся говорила, что таких «без вести» много, а если много, то, значит, и моему отцу наверняка нашлось место среди партизан. Я и на фронт хотел убежать, чтобы найти отца, или чтобы мы оба стали «без вести» – вдвоем ведь лучше, чем одному.

Однажды, после очень жаркого дня, а значит, хорошей выручки от продажи газировки, тетя Клава подарила мне несколько цветных карандашей, которыми я очень дорожил. Иначе как бы я смог помечать моих газетных солдатиков, как бы узнавал, кто свой, кто чужой?

Я любил всех моих бабушек, в том числе и потому, что никто из них не забывал о моих интересах: ни Бабук, ни тетя Нюся, ни тетя Клава, ни тетя Мотя. Например, тетя Клава не только подарила мне цветные карандаши, но иногда читала вслух книжку. Книга у нас в доме была одна – единственная, но зато какая! У нас был «Робинзон Крузо» – большой, с изумительными гравюрами Жана Гранвиля, очень красивый. Откуда он у нас взялся, я не знаю, может быть, даже через самого Франца... Мне повезло – моей первой книгой стала одна из лучших книг, написанных за всю историю человечества. Я так ощущал ее в детстве и до сих пор так считаю.

Конечно, я любил лето, но и зимой мне нравилось. Во-первых, зимой я ходил в стеганых бурках с блестящими галошами, а по дому в чувяках и меня только через день заставляли мыть ноги. Во-вторых, я ложился спать не первый, а вместе со всеми и весь вечер играл в солдатиков. Я сам командовал и за наших, и за немцев, и за партизан. Сам бывал самолетами, пушками, пулеметами, не говоря уже про обыкновенные винтовки, хоть и снайперские. Из моего угла только и слышалось: та-та-та, бух-бух-бух!

– Черви козыри, а ты чем бьешь, Нюся? Ты бубями бьешь, Нюся! – восстанавливала за столом справедливость зоркая тетя Мотя.

– Извини, Моть, мне так от самовара отсвечивает, что показалось и у меня козыри, – оправдываясь, засмеялась тетя Нюся.

- Бух! Бух! Бух! Та-та-та-та! – Шли в наступление наши.
- Ой, будешь ты у нас Александр Македонский, – слушая мою пальбу, решила тетя Клава.
- А кто он такой? – живо переспросил я.
- Великий полководец, – отвечала мне тетя Клава, не упуская из виду карточную игру. –

Валет на валет – бито!

- Наш полководец? – спросил я, приостановив сражение.
- Греческий. Александр Македонский – великий полководец Древней Греции и завоевал почти весь мир.

– И нас, и немцев?! – удивился я.

– По-моему, да, – сказала тетя Клава, – хотя в те времена, кажется, ни русских, ни немцев еще и в помине не было.

– Как это не было? А откуда мы потом взялись?

– Мария Федоровна, ваш ход, – обратилась к Бабук тетя Клава и тут же повернулась ко мне: – Откуда мы потом взялись, прочтешь в истории, когда буквы выучишь.

– Я почти выучил.

– Почти не считается. А пока просто запомни: Александр Македонский – великий полководец. Извини, мой ход, – тетя Клава погрузилась в карточную игру.

С того вечера я раз и навсегда запомнил Александра Македонского. Я часто думал о нем не только в детстве, но и в юности, и в зрелые годы, и до сих пор иногда думаю. Наверное, этим моим размышлениям об Александре Македонском, даже не наверно, а наверняка способствовало то, что, во-первых, он мне приснился в ту же ночь, а во-вторых, я им бредил, когда болел малярией в начале лета 1945 года, вскоре после Дня Победы.

Да, задала мне загадку тетя Клава! Как это так: русских не было, немцев не было, а Александр Македонский был?! У меня и без того хватало загадок. Откуда ветер дует? Куда солнце садится? Почему луна светит, а не греет? Почему на восемь кур у нас всего один петух Шах? Как выглядит Франц? Кто такая Заготзерно? Дед только и говорит: Франц – Заготзерно, Заготзерно – Франц, но кто они такие?!

А после слов тети Клавы про Александра Македонского я даже не смог продолжить сражение. Улучил момент, когда Ада направится в другой угол комнаты, соскочил с кровати, подбежал к столу с сияющим самоваром и захватил из глубокой тарелки полную жменю сушеных бураков с мятой. Вернувшись на кровать, я объявил всем войскам перерыв на обед, потому что не раз слышал от деда: «Война войной, а обед по расписанию».

Я честно поделил самодельные конфеты между нашими, немцами и партизанами, а себе взял меньше всех. Правда, когда я доел свои конфеты, то начал брать по одной и от немцев, и от наших, и от партизан, хотя и сожалел, что мои газетные бойцы не могут по-настоящему есть их сами, а значит, я вынужден делать это за них.

Да, много неясного для меня было и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Например, в какой «подпольнице» и с каким «парабелюмом» сидел мой дед Адам? Что парабеллум – наган, это я знал как дважды два, а «подпольница», наверное, подпол, как у нас? В холодной пристройке к дому у нас есть подвал или, как его называют бабушки, «подпол», закрытый толстой деревянной крышкой или, как ее называют бабушки, «лядой». Значит, мой дед Адам сидел с наганом в подвале? Где? Почему? От кого он прятался?

Конечно, я мог бы спросить об этом и деда, и тетю Мотю, но тогда они бы поняли, что я их подслушивал. А все четыре бабушки и мой дед Адам не раз говорили мне, что подслушивать старших нехорошо. Вот если бы они были немцы, а я наш разведчик, тогда другое дело.

Х

Под утро мне приснился Александр Македонский. Я сразу его узнал, хотя лица и не видел за облаками. Он был такой высокий, что голова его пробила облако и торчала где-то там, в небе.

– Ты Александр Македонский? – спросил я.

– Да.

– Тогда спускайся, посидим на травке: ты, я и Джи.

– Пес у тебя хороший, – сказал Александр Македонский.

– Ты ему тоже нравишься, – сказал я. – Слышь, а побежали с тобой наперегонки до дальних сараев и обратно?

– А ты что, здешний царь? – спросил Александр Македонский.

– Нет, я просто мальчик.

– Тогда не получится, я могу соревноваться только с царями.

– Эй, Македонский, вставай, самовар вскипел, – взяла меня холодной рукой за лодыжку тетя Клава, и я проснулся. – Вставай! – пощекотала она мою ступню.

– Не щекотись, у тебя руки холодные! – окончательно просыпаясь, вскрикнул я.

– Зато сердце горячее, – засмеялась тетя Клава, – вставай!

– А книжку считаешь?

– Посмотрим на твое поведение.

– А где Ада, где тетя Нюся, где тетя Мотя?

– Ада – «в одно место, к одному человеку», Нюся пошла с ним в город, Мотя кур кормит, а мы с Марией Федоровной тебя ждем чай пить.

– Ладно, – сказал я, сладко потягиваясь, – а книжку считаешь?

– Считаю, считаю, вставай!

– Ласка зарезала! – с краснопестрой курицей в руках влетела в дом тетя Мотя.

– Давно? – спросила тетя Клава.

– Та вона ще тепла, – приподнимая в руках курицу, отвечала тетя Мотя.

– Пойдем-ка, – решительно вытолкнула ее за дверь тетя Клава и вышла вместе с ней в холодный коридорчик. Вскоре тетя Клава вернулась в дом и, приоткрыв дверь, подала в коридорчик тете Моте острый нож и большую медную кастрюлю. Потом взяла газету, свернула ее жгутом, взяла спички и опять пошла на выход. Я тоже подбежал к двери и хотел высунуться, но тетя Клава крепко развернула меня за плечи, дружески шлепнула, как она говорила, «по мягкому месту» и очень строго велела:

– Умывайся, одевайся. Мотя без тебя управится с курицей.

– А че она с ней делает?

– Зарезала, а теперь щиплет.

– Ее ласка вперед зарезала.

– Ласка не совсем, а нам надо совсем. Хочешь лапшу с курятиной?

– А что это – лапша?

– Из муки. Сейчас тесто раскатаем, потом порежем. Ты поможешь?

– Ага, – с удовольствием согласился я и пошел к умывальнику, который зимой стоял у нас в теплом месте, недалеко от печки.

– Нажимай как следует на сосок умывальника, набирай в ладони воды побольше и прошею не забывай!

– Не забуду, – огрызнулся я в ответ, прислушиваясь, как в коридорчике возятся тетя Мотя и тетя Клава, и думая о том, что хорошо бы эту подлую ласку поймать. Я ее даже видел один раз – она такая низенькая, длинненькая, темно-коричневая, а мордочка очень злая. И такая эта ласка пронырливая, такая быстрая, что я ее даже не рассмотрел как следует.

«Может, капкан на ласку поставить?» – подумал я, вытираясь после довольно добросовестного умывания.

Из коридорчика запахло паленым куриным пером, и вскоре вошла тетя Клава с ножом, а за ней тетя Мотя с большой медной кастрюлей, которую она с усилием несла перед собою двумя руками.

– А чем так воняет? – спросил я.

– Это куриным пухом пахнет, – ответила тетя Клава, – мы курицу смолили, а потом порезали на куски. Тебе достанется самый лучший, согласен?

– Ага. А зачем вы ее смолили?

– Чтоб кожа была гладкая.

– А-а, – я сделал вид, что все понял, и вернулся к столу, где тетя Мотя положила широкую, ровную и очень гладкую доску, а тетя Клава насыпала на нее много канадской муки, сделала ее круглой ямкой с пустотой посередине, разбила туда же яйцо, налила воды и начала месить двумя руками.

– Дай я попробую.

– Нет. Детям нельзя месить тесто.

– А почему?

У тети Клавы явно не было ответа на мой вопрос, и она обратилась к тете Моте:

– Моть, пару головок лука почисть в суп, морковь.

– Ладно, – согласилась тетя Мотя, – сейчас в подпол слазию, – и пошла в холодную комнату, где у нас был подпол.

– Слышь, тетя Клав, а ты знаешь, как на ласку капкан поставить?

– Во-первых, где мы возьмем капкан? А во-вторых, она такая хитрая, что не пойдет на приманку.

После лука и морковки тетя Мотя принесла подкладывать в печку кизяк, и я с удовольствием помогал ей, мне очень нравилось смотреть в горящую печку.

– Ну дай мне тесто месить, чуть-чуть, – очень нежным голосом попросил я тетю Клаву. Я знал, что она никогда не отказывает, если ее просят нежным голосом, ласково.

Но на этот раз мой номер не прошел, она отказала.

– Не лезь, подожди чуть-чуть, садись лучше чай пить.

Я, волей-неволей, сел пить чай, тем более что наших самодельных конфет была полная тарелка.

– Бабук, а ты хочешь чай?

Бабук отрицательно покачала головой и, не подняв на меня глаз, продолжала вязать. Она целыми днями вязала: то носки, то кофты, то джемпера. Но поскольку пряжи у нее было мало, связав вещь, Бабук тут же ее распускала и начинала вязать что-нибудь новенькое. Вязала свои изделия Бабук как бы не глядя, но получались они у нее очень хорошо.

– Бабук, а как ты вяжешь и даже не смотришь? – спросил я ее за чаем.

– А я семьдесят лет вяжу, – по-русски и совсем без акцента отвечала мне Бабук. На этот раз она вязала мужскую жилетку, точь-в-точь на моего деда Адама.

К тому времени я уже мог делить в уме двузначные числа на однозначные и быстро прикинул, что если мне летом семь, то, значит, Бабук только вяжет десять моих жизней. Для проверки я сосчитал еще раз, и опять получилось десять. Десять моих жизней! Это удивило меня несказанно, и я спросил:

– Бабук, а ты помнишь, как ты была маленькой девочкой?

– Только это и помню, – отвечала она по-русски, шепча по-польски счет петлям, – и с каждым годом все ясней.

– А почему ты иногда хорошо говоришь по-русски, а иногда плохо?

– Не знаю, когда что выскочит.

Тем временем тетя Клава замесила тесто.

– Круто меси, Клава, круто, – посоветовала тетя Мотя.

Тетя Клава послушалась ее и помесила еще. Потом скатала из теста несколько круглых колбасок и поделила их ножом на части. Вот эти колбаски она и стала раскатывать дубовой каталкой в тоненькие круги.

– А зачем ты разбивала в муку яйцо? – спросил я тетю Клаву.

– Чтобы лапша держалась крепче в курином бульоне.

– Я один раз уже ел курицу, – горделиво напомнил я.

– Точно, в позапрошлом году, когда ты болел, – подтвердила тетя Клава.

– Я и в прошлом году болел, и в этом, а почему без куриц?

– В прошлом и в этом ты болел легко, а в позапрошлом тяжело. Тебе нужны были силы.

– А что, курицы силу дают?

– Не только куры, но иногда нужен куриный бульон.

Тетя Клава взяла каталку и начала раскатывать ею лепешки из теста в тоненькие большие круги вроде блинов.

– Хорошая у нас каталка, – сказала тетя Клава, – и главное, знаменитая!

Историю каталки знали все: и я, и Бабук, и тетя Мотя. Так что насчет ее знаменитости ничего никому объяснять было не нужно. Эту тяжелую дубовую каталку мы привезли сюда еще до войны из Таганрога, откуда моя мама, моя старшая сестра Ленка и я сбежали.

Каталка была знаменита тем, что ею чуть не убил меня мой двоюродный брат Сережа, когда мне было пять месяцев, а ему два года. Мой отец исчез, у моей мамы пропало молоко, и ее старшая сестра и мать Сережи, тетя Нина, подкармливала меня грудью, отнимая тем самым молоко у своего сына.

Однажды я лежал запеленутый на низеньком топчанчике, а моя мама и тетя Нина возились на кухне. Там же были Ленка и Сережа – большой, крепкий мальчик, который в свои два года еще не говорил, а только сердито шевелил губами. Как он стащил из-под носа у взрослых каталку, до сих пор непонятно. Но он ее стащил и направился с каталкой ко мне в комнату. Тут он поднял ее над моей головой и поднатужился изо всех сил ударить, но в ту же секунду в комнату влетела моя мама, вырвала тяжелую дубовую каталку из рук племянника и спасла меня. Так моя мама спасла меня. Мама и моя старшая сестра Лена живут в городе, потому что Ленке надо ходить в школу. Хотя я и редко вижу маму и не очень скучаю по ней, но она всегда спасает меня. Например, в прошлом году мама и Ленка пришли к нам в гости на один день. Это было летом. Только они пришли, и меня сразу ужалила змея-медянка. Мама надкусила чуть-чуть место укуса на моей ноге, высосала змеиный яд и опять спасла меня. Бывали такие случаи, и еще не раз, не только в детстве, но и в дальнейшей моей жизни.

А тем временем курица в медной кастрюле вскипела, и всю нашу комнату стал наполнять вкусный запах куриного бульона.

XI

В доме было тепло, вкусно пахло куриным бульоном, в который тетя Мотя положила, кроме двух больших луковиц, срезанных плоскими кружками с корня и с вершка, очищенных только от первого слоя шелухи, а от второго и от третьего неочищенных для того, чтобы у бульона был красивый золотистый цвет; кроме морковки, добавила еще и корешки петрушки и укропа и даже лавровый лист, который когда-то достал дед Адам, кажется, через самого Франца... Запах в доме стоял изумительный.

– Я как старые времена вспомнила, – потянув носом воздух, с улыбкой сказала Бабук, и ее большие темно-карие глаза сияли при этом, как у юной девушки.

Тетя Клава давно порезала тонко раскатанные круги теста на узкие полоски вдоль, а потом несколько раз поперек, и теперь лапша подсыхала.

– Она обязательно должна подсохнуть, – сказала про лапшу тетя Клава. – А тем более курицу рано вынимать. Ты, Моть, воды долей, и пусть доваривается до мягка.

Тетя Мотя долила в кастрюлю воды. Я давно обратил внимание, что бабушки прислушиваются к советам друг друга, только теперь я понимаю, какая большая житейская мудрость и сколько такта было в этом.

Оба наших окна плотно запотели, и я протер в одном из них кружок, чтобы увидеть, что там – на дворе. Во дворе было серо и пустынно, сильный ветер пригибал вдоль канавы кусты цикория, с которых давно облетели белые улитки. Я понял, что во дворе мне делать нечего, подошел ко второму окну и нарисовал на стекле круглую мордочку, с круглыми глазами и широким ртом – длинной черточкой, подумал и еще пририсовал лопухие уши.

К середине дня явились из города Ада и тетя Нюся.

– Как у вас вкусно пахнет! – радостно воскликнула озябшая тетя Нюся, подходя к плите и грея над ней руки.

– Ласка, – коротко сказала тетя Мотя и добавила, обращаясь к тете Клаве: – Так я курицу вынаю?

– Вынимай, а я лапшу буду кидать, она совсем сухонькая.

Прежде чем вынимать курицу, тетя Мотя вынула и выбросила в ведро обе луковицы. Вынула морковку, порезала ее на тонкие кусочки и положила обратно в бульон. Потом она вынула из кастрюли на большое блюдо куски курятины.

– Засыпай лапшу, Клань, – скомандовала тетя Мотя.

Мой дед Адам возился у себя за ширмой из куска брезента, наверное, снимал сапоги и надевал чупяки.

– Тебе помочь? – спросила деда тетя Нюся.

– Спасибо, не надо, – отвечал дед из-за ширмы.

– Лапша поднялась, всплыла, все готово, – объявила тетя Клава.

Первым мыть руки вышел к умывальнику мой дед Адам в мягких чупяках. Тетя Нюся не разрешала ему ходить по дому в сапогах, чтобы он не выбивал наш земляной пол, который она подмазывала каждую неделю. Потом пошли к умывальнику Бабук, за ней тетя Нюся, тетя Клава, тетя Мотя и, наконец, я. Мыть руки перед обедом было заведено у нас строго-настроено. Завела этот обычай Бабук и неукоснительно следила за его исполнением. Не зря она столько лет проработала старшей гувернанткой в доме у грека-миллионера Сократа Демантиди, правила хорошего тона были у нее, что называется, в крови.

На тот момент я и понятия не имел, кем работала Бабук, у какого миллионера? Я и не знал, кто такие миллионеры. Не знал, откуда взялась тетя Нюся. Как мой дед Адам стал автомобильным механиком? Откуда взялись тетя Мотя и тетя Клава? Все это были для меня такие же безответные вопросы, как, почему восходит и заходит солнце? Почему в ночном небе загораются звезды? Почему белая кобыла Сильва родила гнедого жеребенка? Да я, собственно, особенно и не задавался всеми этими вопросами, а о некоторых из них вообще не знал, что они существуют.

В большом медном блюде источали ароматный пар куски курицы. Тетя Мотя разливала лапшу по тарелкам: сначала деду, потом Бабук, затем тете Нюсе, тете Клаве, мне и в последнюю очередь себе.

– Грех под такую еду не выпить, – сказала тетя Нюся, ставя на стол возле деда початую бутылку водки, подала стопку деду, потом Бабук, тете Клаве, тете Моте и в последнюю очередь взяла себе.

Умение моих бабушек хорошо готовить и их навыки потом очень пригодились мне в археологических экспедициях. Когда в поле бывали у нас дни рождения или другие праздне-

ства, я объявлял себя шеф-поваром и готовил к торжественному столу все сам, конечно, с помощницами, от которых у меня отбою не было, хотя я вырос и не такой красивый, и не такой энергичный, и не такой ловкий, как любимец женщин мой дед Адам.

Дед разлил водку по стопкам и, поднимая свою, сказал:

– Ласка молодец. Ничего: в одном месте убудет, в другом прибудет.

Все они дружно чокнулись и выпили горькую водку. Я им не завидовал, потому что один раз уже пробовал эту противную водку, еле-еле отплевался.

Бабук приучила всех есть за столом бесшумно, и слышалось только легкое постукивание ложек о наши старенькие, выщербленные кое-где по краям глубокие тарелки.

Дед выпил вторую рюмку, за ней третью, тогда как все бабушки ограничились одной.

Все бабушки размялись, но особенно Бабук, а ее сияющие глаза разгорелись так ярко, что даже мне было понятно, что она не прочь выпить еще стопку, но сдерживает себя изо всех сил.

Доев лапшу в золотистом бульоне, все обратили пристальное внимание на куски курятины в медном блюде. Тетя Нюся хотела подать к столу наши гнутые алюминиевые вилки, но Бабук остановила ее:

– Птицу едят руками.

Есть руками я обожаю, такой поворот дела мне очень понравился.

– Тебе белое мясо? – спросила меня тетя Нюся.

– Ага, – ответил я, и она дала мне большой кусок нежного белого мяса.

– Если кто не любит шкуру, отдавайте мне, – сказала тетя Клава.

Может быть, кто-то из нас тоже любил куриную шкуру, но все отдали ее тете Клаве.

– Сегодня мы много ходили, зато назад приехали, – сказал мой дед Адам, аккуратно обглаживая куриную косточку. – Вот кончится война, вернут нам машины, тогда опять будем ездить каждый день.

– А на чем ты сегодня приехал? – удивленно спросил я деда.

– На полуторке Заготзерно, завтра надо отогнать.

– Канадка кончилась, – сказала тетя Клава, – я даже этот бумажный мешок сожгла, в котором она была.

– Ничего, – сказал дед, – Франц кукурузной муки дал. Посплю, и будем разгружать.

– Ой, мамалыги наварим! – всплеснула руками тетя Мотя, знавшая толк в мамалыге.

Дед пошел спать за ширму. Тетя Мотя и тетя Клава в четыре руки быстренько помыли и вытерли посуду, убрали все со стола и вытерли его сначала мокрой, а потом сухой тряпкой. Самовар решили пока не ставить.

Бабук отсела к окошку с намерением распустить только что связанную жилетку точь-в-точь на деда.

– Мария Федоровна, да подождите распустать такую красоту, – остановила ее тетя Клава, – дайте хоть часок на нее полюбоваться.

Бабук польщенно улыбнулась и отложила жилетку в сторону.

– А можно я кости Джи отнесу? – спросил я тетю Нюсю.

– Нет. Собакам трубчатые куриные кости нельзя, они могут горло поранить, – сказала тетя Нюся и выбросила кости в мусорное ведро под крышкой.

Играть днем в солдатиков я не любил, идти на холодный ветер во двор не хотелось. Тогда я протер в запотевшем стекле окошка круг пошире и стал смотреть, что там происходит по ту сторону стекла. А там, оказывается, кое-что происходило. Во-первых, около конторы стояла бортовая полуторка с чем-то, прикрытым брезентом в кузове. Во-вторых, около машины сидел Джи и совсем недалеко ходил дедушка Дадав в длинном чабанском тулупе, в котором ему любой ветер был не страшен. Я понял, что дедушка Дадав посадил Джи охранять машину. Дедушка Дадав работал в конторе старшим сторожем, у него было под началом еще два сторожа

помоложе, и они втроем, по очереди, конечно, вместе с Джи охраняли Центральную усадьбу. На ночь дежурному сторожу выдавалась охотничья двустволка.

Когда мы встретились с дедушкой Дадавом, он всегда гладил меня по голове и говорил, улыбаясь, «коп якши баранчук», что значит «хороший мальчик».

Вдруг в нашу дверь громко и требовательно постучали. Я первый бросился открывать, но тетя Клава стояла ближе к двери и опередила меня.

Напуская в дом холода, вошли один за другим два дядьки милиционера в шинелях, молоденькая доярка Зейнаб и счетовод Муслим в неизменной кепке-шестиклинке.

– Клава, дверь притяни как следует, а то не идут, а возом едут, – велела тетя Ньюся.

Тетя Клава плотно прикрыла дверь.

– Где хозяин? – окидывая взглядом всю нашу компанию, спросил невысокого роста голубоглазый коренастый милиционер с лейтенантскими погонами на плечах шинели.

Второй милиционер – гораздо моложе первого, черноглазый, в шинели, болтавшейся на нем, как на вешалке, – был явно смущен стольким количеством женщин в комнате и, оглядывая наше жилище, невольно не забывал бросать жадные взгляды и на красивую Зейнаб.

– Где хозяин? – повышая басовитый голос, повторил лейтенант.

– А ты не ори – здесь дети, женщины, – раздался из-за ширмы спокойный голос моего деда Адама. – Я сейчас.

– Ньюра, предложи людям сесть, – выходя из-за ширмы в сапогах, сказал дед и, не глядя на гостей, направился к умывальнику.

– Садитесь, пожалуйста, – предложила незванным гостям тетя Ньюся, радушно указывая на старенькие венские стулья вокруг стола.

Первым прошел к столу счетовод Муслим и сел на стул, не сняв кепки, за ним Зейнаб. Милиционеры помялись и тоже уселись за наш дощатый стол, положив на него свои фуражки, козырьками и тульями вниз, потом старший, видимо, решив, что стол достаточно чистый, перевернул свою тульей вверх, а за ним и младший. Старший оказался блондином, а младший жгучим брюнетом. Все гости были явно смущены еще не выветрившимися вкуснейшими запахами.

– Мотя, иди погуляй с ребенком, – распорядилась тетя Ньюся.

Тетя Мотя мигом набросила на меня фуфайку, надела бурки с остроносими галошами, намотала вокруг шеи шарфик, связанный Бабуком, напялила старенькую ушанку, сама на ходу надела фуфайку и схватила с полки шерстяной платок.

Я очень не хотел выходить из дому, но тетя Мотя буквально вынесла меня за дверь, и единственное, что я услышал, – это густой бас лейтенанта, значительно проговорившего моему деду Адаму, подошедшему от умывальника к столу:

– Вот ордер, вот понятияе.

– А какой орден? – успел поинтересоваться я, но тетя Мотя тут же плотно прикрыла за нами дверь.

– Пойдем ласку проверим.

– А какой орден Аде дадут?

– Поживем – увидим, – сказала тетя Мотя. – Давай-ка курятник обследуем, а то подлая ласка опять нашкодит.

– Может, на нее капкан?

– А де его возьмим, той капкан?

Тут выяснилось, что милиционеры приехали на мотоцикле харлей с коляской, и он стоял под навесом, рядом с курятником. Вполне понятно, что при виде американского мотоцикла я тут же забыл про ласку. Хотя мотоцикл и заинтересовал меня, но не настолько, чтобы я торчал около него больше пяти минут.

Потом мы с тетей Мотей открыли курятник. Я осмотрел дырку, которую подкопала ласка, и заключил, что тетя Мотя забила ее камнями очень хорошо.

– Теперь она не подлезет, – сказал я про ласку, – а можно железную решетку забить.

– Де та решетка? – спросила тетя Мотя, соглашаясь с моим инженерным проектом.

– А там, за конторой куски бороны лежат выкинутые, – сказал я.

Мы пошли за контору с развевающимся над крыльцом дымно-розовым флагом с серпом и молотом. По дороге я поздоровался с дедушкой Дадавом и погладил по голове Джи, охранявшего полуторку. Ржавые куски малой бороны действительно валялись за конторой.

– Та промеж зубцами той бороны две ласки пролезет, – сказала тетя Мотя.

– А это ничего, – отвечал я, – борону можно забить в землю, а между зубцами подкопать и заложить камнями.

– Ну, молодца! – восхитилась моей инженерной мыслью тетя Мотя. – Правильно. Забьем. Заложим. Молодца!

Мы взяли метровый кусок ржавой малой бороны и пошли к курятнику. По праву первооткрывателя я нес кусок бороны сам. Он был не такой уж легкий, но важность совершаемого мною деяния приумножала силы. Тут из дома вышли мой дед Адам с маленьким фибровым чемоданчиком, называемым у нас «балеткой», тетя Нюся, тетя Клава, оба милиционера, красивая доярка Зейнаб и счетовод Муслим. Все они направились к полуторке, которую охранял Джи.

Увидев моего деда Адама во главе свиты, я тут же, посреди двора, положил кусок бороны на землю случайно зубцами вверх, и мы с тетей Мотей присоединились к свите.

– Залезай в кузов, – сказал молодому милиционеру мой дед Адам.

Милиционер покосился на сидевшего у машины Джи.

Дедушка Дадав позвал Джи от машины, снял его с поста, и только тогда молодой милиционер в длинной шинели полез через боковой борт в кузов. При этом, когда он оперся ногой о почти лысое колесо, сапог его чуть не соскользнул. Милиционер еле-еле успел перекинуть свое тело в кузов полуторки. В кузове он приоткрыл брезент, под ним оказались какие-то полные мешки.

– Сосчитай их, – приказал лейтенант.

– Нечего считать, – сказал мой дед Адам, – сдадим в Заготзерно по весу.

– Сначала поедем в отделение, – сказал лейтенант.

– Нет, в Заготзерно, – твердо возразил дед. – Мне еще машину им сдавать, или ты хочешь повесить ее на себя?

Последние слова деда явно смутили лейтенанта. Он долго что-то соображал в уме и, наконец, махнул рукой:

– Ладно. Сначала в Заготзерно, – и тут же добавил, обращаясь к своему младшему напарнику: – Я следом за вами.

– Пука! – Не склонный к сантиментам, мой дед Адам поднял руку, прощаясь со всеми нами. Его волнение выдало только это «пука» вместо «пока», когда волновался, дед часто переходил на польский строй речи.

– А ты скоро? – все-таки спросил я.

Дед утвердительно кивнул мне и весело подмигнул сразу обоими глазами, с интервалом в доли секунды.

– Давай крутани, – дед подал молодому милиционеру вытертую до блеска железную заводную ручку, а сам сел к рулю.

Под нашими пристальными взглядами милиционер кое-как вставил ручку в нужное отверстие радиатора и неловко крутанул ее раз, другой, третий.

– Давай-давай! – высунулся из кабины мой дед.

Наконец, машина завелась. Вытащив ручку, милиционер вместе с ней сел в кабинку к деду, и они поехали.

Тем временем лейтенант с любовью и тщанием обтирал ветошью свой мотоцикл, наводил красоту. Навел, газанул с грохотом на всю Центральную усадьбу и резко сорвался с места, видимо, желая немедленно догнать полторку, которая почти скрылась за дальними взгорками.

Не догнал. Наехал на валяющуюся посреди двора борону зубцами вверх. Опечаленные внезапным отъездом деда, мы с тетей Мотей забыли ее подобрать, а сразу вместе с тетей Нюсей и тетей Клавой пошли домой, в тепло.

Грохот и громкие матюкания лейтенанта во дворе удивили всех нас. Я тут же бросился к окошку и стал протирать в нем чистый круг побольше.

– Клава, ты у нас женщина нотная, пойди посмотри, что случилось? – сказала тетя Нюся.

Пока тетя Клава выходила из дома, я уже был в курсе событий. Лейтенант наехал на оставленную мной борону зубцами вверх и теперь, приподнимая переднее колесо, пытался отцепить от него эту самую борону, но не тут-то было. Скоро подошла тетя Клава и сама подняла мотоцикл за переднее колесо, тогда и лейтенанту удалось вырвать борону из колеса.

Я вспомнил, что дедушка Дадав видел, как я положил кусок бороны на землю, но он не подошел к милиционеру и ничего ему не сказал, а даже подозвал рукой Джи, и они пошли вместе с ним в дальний угол усадьбы.

Пока лейтенант откручивал пробитое и даже чуть искореженное колесо, пока ставил запаску, тетя Клава развлекала его разговорами, а я смотрел на них в окно и сожалел, что мне ничего не слышно, потому что говорят они совсем не так громко, как только что матюкался лейтенант.

Наконец лейтенант и тетя Клава разулыбались друг другу, пожали руки, лейтенант стал отъезжать потихонечку, а тетя Клава радостно махала ему вслед ладошкой.

– Ой, ты, Клань, мастерица зубы заговаривать! – засмеялась тетя Нюся, встречая вошедшую в дом тетю Клаву. – Я чуть зыркнула в окошко – вы только не расцеловались.

– Да он наш, тамбовский! – радостно блестя круглыми зелеными глазами, отвечала тетя Клава. – Мы в одной речке купались, Ворона называется.

– Дак ты само главно – словечко хоть замолвила? – спросила тетю Клаву тетя Мотя.

– Еще как замолвила! – уверенно отвечала тетя Клава.

Вечером все, как всегда, пили чай из самовара, но на этот раз бабушки не играли в карты. А я играл в солдатики. До моего полутемного угла на кровати долетали от стола отдельные куски разговора моих бабушек. Если бы я захотел, то услышал бы все, что они говорили, но я увлекался сражением наших с немцами и многое пропускал мимо ушей.

– Под Франца кто-то копает, – сказала тетя Нюся. – Мы получили муку официально по договору за полгода обслуживания машин Заготзерно. По накладной, честь честью.

– Была та мука, да сплыла, что есть-то будем? – спросила тетя Клава.

– Ой, Клань, не ной, – тут же оборвала ее тетя Мотя. – Как-нибудь перекрутимся. Сирота ох, а за сиротой Бог!

Бабук сидела молча. Вязать ей теперь было не из чего – жилетку надел на себя дед Адам.

– Удачно с этой жилеткой вышло, – порадовалась тетя Нюся. – Вы, Мария Федоровна, как в воду смотрели, что связали именно жилетку на Аду.

– Я давно в нее смотрю, в эту воду, – бесстрастно отвечала на чистом русском языке Бабук, печально потупив как всегда сияющие глаза.

ХII

Как и знаменитый полководец древнего Карфагена Ганнибал, Наполеон восхищался военным гением Александра Македонского. Но в еще больший восторг его приводил поли-

тический инстинкт юного царя, его интуитивный дар к театрально-историческим эффектам. Например, когда Александру Великому представили тело убитого в сражении с македонянами персидского царя Дария, он царственным жестом снял свой плащ и с глубоким поклоном укрыл им тело погибшего врага.

Это видели и македоняне, и персы.

Вскоре Александр Македонский женился на старшей дочери Дария красавице Статире и также взял в жены Парисат – дочь другого персидского царя, Артаксеркса III. На свадьбе гуляли сотни тысяч человек, потому что одновременно Александр одарил женами из знатных персидских семей разных провинций 10 тысяч своих воинов-македонян и засыпал всех их подарками. Дело присоединения Персидской империи к владениям, завоеванным Александром Македонским, было решено красиво и без каких бы то ни было волнений среди народа.

Тетя Клава не раз называла меня Александром Македонским, и я так крепко запомнил это имя, что лет с одиннадцати, когда начал запоем читать книги, выпрашивал в библиотеках любое, что есть про Македонского, и читал и запоминал все с лету и навсегда. А когда я узнал, что во время похода на Индию Александр Великий брал наш Дербент и проходил тем узким песчаным коридором между горами и Каспийским морем, где стоял наш дом на Центральной усадьбе, то я однажды подумал о Македонском, как о живом, нормальном человеке, которому нужно не только завоевывать царство за царством, но и есть, пить, спать.

Я подумал: «А если он шел здесь, то почему не мог остановиться на ночлег на месте нашей Центральной усадьбы? Здесь и от моря недалеко, и сухо. И тогда ведь еще не было нашего дома из самана? Значит, он мог спать как раз там, где сейчас стоит наш дом. Я читал, что Александр любил, завернувшись в плащ, спать прямо на земле, среди солдат. Значит, он мог спать и там, где сейчас стоит моя кровать, на моем месте?»

Как следует обдумав все это, я был удивлен, насколько, оказывается, близко ко мне, во всяком случае в мыслях, стоит в одном и том же пространстве Александр Македонский и как, оказывается, может слиться время, даже 2 тысячи 300 лет, слиться и сложиться в одну тонкую линию.

Почему-то ни конь Александра Буцефал, купленный за 13 талантов, или 340 килограммов серебра, ни оружие великого полководца не занимали меня так сильно, как его плащ. Я не видел цветных картинок Александра и воображал себе его плащ сам, по своему усмотрению. Почему-то мне он казался светло-синим с легким зеленоватым отливом, почти как морская волна, только гораздо более яркого цвета. Я даже представлял его на ощупь – он был такой мягкий, бархатистый, наверное, теплый в холод и прохладный в жару, как шелк, хотя я и читал, что ни в Греции, ни в Персии не было шелка, а его Александр узнал только в Индии.

Мне очень нравилось, что Александр не стремился к богатству, не хапал себе, а уважал знание и великие цели, которые ставил перед собой с юных лет. Я радовался, что домашним учителем Александра был сам Аристотель. Но, правда, не очень одобрял царя за то, что он обижался на Аристотеля:

– Зачем ты говоришь то, что знаешь, всем? Не надо! Говори только мне.

На что Аристотель отвечал с улыбкой:

– О, Александр, я знаю не так уж много.

И еще про плащ. Когда Александра спросили о его имуществе, он снял с себя плащ и, высоко подняв его над головой, сказал:

– Вот оно, мое имущество! – помедлил и, накидывая на себя плащ, добавил:

– Вот этот плащ, ну и весь остальной мир... Но до моих одиннадцати лет и запойного чтения было еще очень далеко. А пока что бабушки сидели за отсвечивающим медным самоваром, а я на кровати, со своими солдатами.

Все было, как всегда, только мой дед Адам не ходил стремительно по комнате: туда-сюда, туда-сюда. Раньше всем нам казалось, что эта его ходьба раздражает, а теперь без нее было так плохо, так пустынно, так одинаково.

– Спасибо, не энкавэдэшники, – обронила тетя Нюся.

– Да, и с жилеткой повезло, – сказала тетя Клава и тут же обратилась к Бабук:

– Мария Федоровна, а разложите-ка пасьянс.

Бабук равнодушно пожала плечами.

– Разложите, Мария Федоровна, ради бога! – попросила и тетя Мотя, – может, душа хоть чуток успокоится.

– Ладно, – неожиданно согласилась Бабук, – буду сложный.

– Сложный! Конечно! Сложный! – подхватили все три младшие бабушки.

– Тогда из моей тумбочки две мои колоды по пятьдесят две карты, – велела Бабук, и тетя Нюся тут же исполнила ее повеление.

– А зачем две колоды? – спросила тетя Клава.

– Это сложный пасьянс «Наполеон», его раскладывают из двух колод, – как всегда бесстрастным тоном отвечала Бабук. – Так, – Бабук обвела младших бабушек своими как обычно сияющими глазами. – Я не могу, когда мне смотрят в руки, отсыдьте далеко.

Все младшие бабушки послушно взяли старенькие венские стулья и отсели от стола, далеко к глухой стене, даже дальше, чем стояла моя кровать.

Некоторое время я с интересом смотрел, как Бабук раскладывает на чистом столе карты, но потом это мне надоело и я возобновил сражение наших с немцами.

Стала коптить керосиновая лампа за столом, где священнодействовала Бабук.

– Лампа коптит! – сказал я, повернувшись к младшим бабушкам.

Но они как сидели тихо, так и остались сидеть.

– Лампа коптит, надо фитиль подрезать, – опять сказал я.

Тетя Нюся посмотрела на меня сердито, приложила к губам указательный палец, дескать, «молчи», да еще и погрозила мне этим же пальцем.

Я понял, что пасьянс – дело нешуточное, и больше не вспоминал про лампу, хотя она коптила все сильнее. Тогда я впервые подумал, что раз мои бабушки сидят, как в рот воды набрав, то значит, карточные гадания могут что-то решать, во всяком случае, предопределять в этой жизни. Конечно, я не думал именно так, как сейчас пишу, но примерно в этом русле. Потом, в юности и в зрелые годы, когда уже не было на свете Бабук, я просил погадать мою маму, которая насколько хорошо гадала, настолько и не любила это дело. Как ученый зануда, не могу не заметить, что из 10 гаданий 7, а то и 8, сбывались. Процент попадания в цель, как вы понимаете, очень большой, я бы сказал, преобладающий.

Наконец, Бабук положила последнюю карту, хлопнула ладонью по столу и громко, молодо молвила:

– Добже!

Все младшие бабушки, правильно поняв польское слово «хорошо», шумно и радостно встали со стульев и понесли их к столу.

– Господи, дай бог! Господи, прости и сохрани! – широко перекрестилась в пустой угол тетя Нюся и тут же сказала: – Надо иконку повесить!

– Я принесу из города от одной бабки, она даст, – добавила тетя Клава.

А тетя Мотя тем временем уже сняла тряпочкой раскаленное стекло с лампы, подрезала ножницами нагоревший фитиль и снова надела стекло. Все, теперь лампа горела, как надо.

Бабук складывала в колоды карты. Все младшие бабушки раскраснелись от воодушевления.

– А че, девчата, может, самоварчик вздуть! – сияя большими зелеными круглыми глазами, предложила тетя Клава.

Я очень обрадовался: будут ставить самовар, значит, меня еще долго не загонят спать.

ХIII

Пасьянс «Наполеон» сошелся, но мелькали дни за днями, недели за неделями, а мой дед Адам все не возвращался домой.

В апреле кончилась картошка, кроме той, что строго-настрого припрятала тетя Мотя на посадку. Еще подождать дней десять, и в конце апреля уже можно будет посадить картошку и ждать нового урожая. Еще оставалось немножко бураков. Хлеба не было уже три недели. Начальник конторы, над которой развевался флаг с серпом и молотом и которая время от времени называлась то колхозом, то совхозом, прислал через дедушку Дадава кусок курдючного жира, килограмм, не меньше. Жаль, что жарить на этом жиру было нечего.

Тетя Нюся знала съедобные травы, и мы все на нее надеялись, на тетю Нюсю и на дружную весну.

– Дай бог, скоро трава пойдет, – говорила тетя Нюся, – вот-вот лебеда вылезет, крапива, ничего, как-нибудь переждемся. Только бы Ада наш скорей вернулся.

И я видел, как на добрые тети Нюсины глаза набегают слезы, а сама она при этом улыбается изо всех сил.

Тетя Клава неделю пропадала в городе, зато вернулась со здоровенным черно-синим фингалом под правым глазом, с буханкой черно-серого хлеба, тремя головками чеснока и солдатской фляжкой подсолнечного масла, пахнущего так вкусно, что у меня даже чуть-чуть закружилась голова. А еще тетя Клава принесла мне петуха на палочке! Настоящий леденец, который я облизывал с восторгом!

Тетя Мотя сказала, что две головки чеснока мы посадим завтра на огороде – это и разговоров не может быть, а одну, так уж и быть, съедем.

– Правильно, – сказал я, – Робинзон Крузо тоже всегда оставлял на семена.

Тетя Нюся нарезала на дощечке тоненькие куски хлеба, натерла их чесноком, посыпала солью, полила чуть-чуть постным маслом и раздала всем бабушкам по два кусочка, а мне три.

Господи, как это было вкусно! Спасибо тебе, Господи, за этот вкус хлеба, подсолнечного масла, соли и чеснока! Я помню его до сих пор и никогда не забуду.

В тот день я совершил маленький подвиг, вошедший в анналы нашей семьи, как и история с дубовой каталкой, которой чуть не убил меня двоюродный брат Сережа. Съев два кусочка хлеба с маслом, солью и чесноком, я отодвинул от себя тарелку с третьим куском и сказал:

– А этот надо разрезать на пять частей – каждому по кусочку. Съесть весь мне одному нечестно.

Некоторое время все четыре мои бабушки были в замешательстве.

Потом тетя Мотя, тетя Клава и тетя Нюся начали говорить, что мне надо расти и поэтому это мой кусок.

– Нет, – тихо, но твердо сказал я, – не буду.

– Он прав, – сказала наконец Бабук, – Анна Михайловна, поделите на пять кусочков.

Тетя Нюся ловко разделила мой кусок на пять равных частей. Тогда я взял с тарелки свою долю и начал медленно-медленно жевать, чтобы продлить удовольствие. Бабушки тоже взяли свои кусочки и почему-то все, кроме Бабук, целовали меня, кто в щеку, кто в макушку и тихо плакали. А мне было хорошо от того, что все получилось по-честному.

Однажды утром, когда я проснулся от бьющего в окошко солнца, но все еще изображал из себя спящего, мне удалось подслушать длинный и важный разговор. Вернее, рассказывала тетя Нюся, а Бабук, тетя Клава и тетя Мотя слушали.

Конечно, я помнил, что подслушивать взрослых нехорошо, но тетя Нюся рассказывала о таких чудесах, что я не мог преодолеть соблазн и подслушивал, буквально ловил каждое слово.

– В той Македонии я и научилась различать съедобные травы. Степан Григорьич меня научил, отец нашей Зины.

Я понял, что речь идет о моей маме, и наострил уши. Мама приходила к нам иногда вдвоем с Ленкой, иногда одна, но каждое воскресенье, и обязательно приносила какую-нибудь еду, потому что она получала паек по рабочей карточке.

– А та Македония, откуда Александр Македонский? – спросила тетя Клава.

– Та самая, – ответила тетя Нюся. – Так вот, я и говорю, а встретились мы все – Ада, Степан Григорьич, я – в македонском городе Кавала, это порт такой. Вот в окрестностях той Кавалы мы и стукнулись лбами друг об дружку. В том смысле, что как бы стукнулись. Русский язык, можно сказать, свел. В большом апельсиновом саду мы убирали первый урожай апельсинов, обычно их бывает два. Хозяйство было очень большое, и хозяин-грек, пожилой, но очень шустрый, вроде и не смотрит ни за чем, а все замечает и с ходу сам показывает, как надо делать, а как не надо, видно, из простых работников поднялся до большого хозяина. У него тех апельсиновых рощ на километры было, и везде дорожки, чистота, порядок. И нужно сказать, на работников или на нас, работниц, никогда не кричал, никого не унижал, зато за ошибки или плохую работу деньгами наказывал, штрафовал – только так! В тот день и час я собирала те апельсины как раз у самой усадьбы, а посреди двора автомобиль стоял бортовой, да еще с большим прицепом. В кузов и в прицеп грузили ящики, а потом их сразу везли в порт Кавала. Шофер как раз около машины крутился, для чего-то даже капот поднял и на меня посматривал. Очень красивый был шофер. Тут хозяин-грек подошел, стали они переговариваться по-гречески. Слышу я, шофер совсем плохо говорит по-гречески и, мне показалось, с немецким акцентом. Много женщин и девушек убирали апельсины, и все поглядывали на этого шофера и еще на одного грека – двухметровый такой дядька, говорит по-македонски, аж от зубов отскакивает, и носит к машине не как все другие парни и мужики по два ящика на плече, а один, но огромный, как сундук, – нормальных ящиков в нем штук десять, никак не меньше. И вот приближается этот дядька, с этим большущим сундуком на плече, а апельсинов в нем не то что доверху, но даже и с горкой. Приближается, совсем поравнялся и тут как запнулся о корневище и как полетит на землю! Сундук его из тонких дощечек – вдребезги, желтые апельсины все раскатились по земле. А дядька вдруг как выразится по-русски.

– Дядечка, родненький, как вы сами?! – бросилась я к нему, подала руку, помогла встать.

– Так ты русская? – покраснел дядька.

– Русская, русская. Не сильно ушиблись?

– Ничего, – улыбается, – был бы не женат, сказал: до свадьбы заживет.

– Эй, ребята, третьего примете?! – вдруг подошел к нам от машины синеглазый шофер-механик.

– Еще бы – Бог троицу любит! – засмеялась я, и так в один момент мы узнали друг друга.

А когда еще выяснилось, что все земляки: Адам из Ростова, Степан Григорьич из Таганрога, я из-под Новочеркасска, то решили сегодня же вечером пойти в портовую таверну и поговорить как следует и отметить нашу встречу.

Я почувствовал, что хочу по-маленькому. Но если встану, то тетя Нюся сразу замолчит, и что делать? Я решил крепиться изо всех сил и слушать тетю Нюсю.

– Таверна та была известная во всем городе хорошей едой и уважительным обслуживанием. Там на дверях стояли два таких битюга, что они любого подвыпившего скандалиста враз вышвыривали на улицу. Шел 1923 год от Рождества Христова. Степан Григорьич сказал, что в Солоники приплыл из Одессы первый после нашей революции транспорт с хлебом. Пять кораблей. Мы все знали, что Гражданская война у нас на Родине закончилась еще в 1921 году и теперь там НЭП – новая экономическая политика. Вроде дают свободу людям, но в двадцать первом году был в России страшный голод, а и двадцать второй выдался немногим лучше.

– Откуда взяли зерно? – сам себя спросил Степан Григорьич и сам же ответил:

– Россия большая, нашли, где взять. Последний караван с зерном я привел в Салоники в марте 1917 года, так что шесть лет не было здесь нашего хлеба.

Тут скрипач очень громко заиграл танец сиртаки, и молодые моряки и девушки пошли в пляс прямо среди таверны. Степан Григорьич подозвал официанта и дал ему небольшую купюру, которую тот мгновенно спрятал в карман и почтительно замер.

– Это моя сестра, это мой брат, – показал глазами Григорьич на нас с Адамом, – мы давно не виделись и хотели бы поужинать в тихом месте, может, вы найдете уголочек? А к молодежи у нас нет претензий: танцевать – дело молодое.

– Спасибо, – сказал официант, – у нас есть уголок на верхней веранде, там сейчас свободно и весь порт как на ладони. Эта веранда у нас всего на один столик, там никто не мешает.

На маленькой верхней веранде было очень хорошо, и огоньки порта, и города, и море – все было перед глазами, а музыки снизу почти и не слышно, и даже приятно, что скрипач играет, а барабанщик бьет в барабан, как будто где-то далеко-далеко.

Тетя Нюся не рассказывала ничего интересного, а по-маленькому хотелось мне все сильнее. Наконец, я сбросил одеяло, пробежал к буркам с галошами, натянул их кое-как, набросил стеганку и выскочил за дверь.

XIV

Я так быстро бежал до нашей уборной, что ничего не видел и не слышал. Зато, когда вышел оттуда, сразу увидел, как красиво вокруг. Солнце уже поднялось высоко в синем небе и не только светило, как зимой, но и грело. На виноградниках за канавой много взрослых работниц и подростков освобождали лозы от земли, которой они были прикопаны на зиму, встряхивали их от комьев, потом забивали в землю длинные палки-таркалы и тут же обвивали вокруг них виноградные лозы. На крыше нашего дома легкой зеленой дымкой взошла первая трава, даже еще и не трава, а как бы зеленый пух.

Тетя Мотя сказала, что две наши курицы высиживают яйца и скоро будут у нас цыплята, только чем их кормить, непонятно. Две очень важные белые курицы, Фима и Сима, точно сидели на яйцах, а четыре остальных, у которых тоже были свои имена, и петух Шах дремали на насестах. Мы с тетей Мотей все-таки принесли тот кусок малой бороны, на котором сломался милиционер со своим харлеем, и забили этот кусок в землю со стороны, где опять могла пробраться ласка, забили, подкопали между зубьями, как надо, и заложили камнями так, что теперь никакая ласка была не страшна ни нашим курам, ни будущим цыплятам. В курятнике было темно и сильно пахло куриным пометом, запах которого я очень не любил. Проверяя наше с тетей Мотей сооружение, я вдруг подумал, что цыплят можно кормить червяками! Я вспомнил, как летом куры клевали червяков, а я их накопаю по берегам канавы столько, что хватит и цыплятам, и курам, и петуху Шаху.

Очень довольный своим замыслом, я вышел из темного курятника на свежий воздух и радостно огляделся. От синей горы, где обычно пас коров мой погибший на войне друг Алимхан, дул легкий, нежный ветер Магомет, южный ветер большой и дружной весны, как раз такой, о которой мы все мечтали, чтобы не пропасть с голоду.

Хотя я и был в одних трусах, в распахнутой стеганке на голое тело и в бурках с остроносыми галошами, мне было совсем не холодно, а хорошо и весело от теплого ветра, от вида синей горы с белыми саклями по ее правому склону, а главное, от тонких и нежных звуков зурны, которые долетали из аула. Я знал, что так громко и красиво умеет играть на зурне только Гаджи – мальчик, старше меня в два раза. У него с рождения не работают обе ноги, поэтому он не ходит на виноградники вместе с другими подростками и женщинами, а играет на зурне, ему разрешили. Я знаком с Гаджи, потому что мой дед Адам прошлым летом приезжал за ним

в аул на полutorке и возил его в город к врачам и показывал ему море, которого он никогда не видел. Перед тем как ехать в город, они заезжали на Центральную усадьбу, в контору, за какой-то бумажкой. Меня они не взяли с собой, потому что в кабинку к деду, кроме Гаджи, села и его мама, а мне не досталось места.

Во дворе нашей Центральной усадьбы никого не было – ни аульских стариков, ни хакимов. Хакимы – это значит начальники, они обычно сидели вместе со стариками на длинной скамейке под конторой, разговаривали и от скуки строгали ножами палочки. Я понял, что стариков и хакимов нет потому, что еще не очень тепло, а вот потеплеет через недельку, и они будут на своих местах, а по воскресеньям здесь еще станут устраиваться состязания брадобреев. А пока нет никого, пока еще холодно. В дальнем конце усадьбы ходит только один дедушка Дадав, но уже не в чабанском тулупе, а в стареньком бешмете и в папахе. Увидев меня, дедушка Дадав приветливо поднял руку, я тоже поднял свою и даже потряс ею в воздухе.

Прежде чем возвращаться домой, я решил дойти до коровника и поговорить с Джи. Выпаса еще не было, так что коровы стояли в стойлах, те, которые еще могли стоять, а которые не могли – лежали. Кормили коров соломой и болтушкой из половы, а от такой еды силы не прибавляется. Хотя раз в неделю откуда-то привозили на арбе соевый жмых, и тогда у коров был праздник.

Машин теперь в нашем гараже не стояло, шоферы тоже куда-то делись, мой дед Адам давным-давно уехал с милиционерами, и мы его ждали каждый день без устали.

Время от времени то тетя Нюся, то тетя Клава ходили куда-то в город «хлопотать» насчет деда, но пока ничего у них не получалось. Моя мама не могла ходить «хлопотать», потому что у нее на заводе был «твердый рабочий день», я не понимал, чем «твердый» отличается от «мягкого», но вынужден был принять эту данность.

Джи встретил меня с радостью, хотя я и не принес ему ничего. Не принес, но пообещал:

– Подожди, Джи, вот будет у нас много еды, тогда я каждый день буду тебе приносить!

Джи мне поверил и не уворачивался, когда я гладил его по голове и трепал за шею.

Вдруг на нашу Центральную усадьбу с шумом въехала полutorка, с еще большим шумом остановилась, и из ее кабины спрыгнул на землю мой дед Адам.

– Ада-а! – не помня себя от радости, закричал я и бросился бегом к моему любимому деду.

Мой дед Адам подхватил меня на руки и стал обнимать и целовать, прижимаясь к моей щеке своею колкой щекой.

XV

Я не был посвящен в подробности чудесного освобождения моего деда Адама, как говорил он сам: «Освободили и освободили». То есть он не придавал этому значения, во всяком случае, такой делал вид.

Дед вроде бы не придавал значения, зато все бабушки очень даже придавали, они прямо-таки светились от счастья. Даже Бабук, милостиво улыбнувшись, спросила Аду:

– И пригодилась моя жилетка?

– Пригодилась, – молодо сверкнув синими глазами, отвечал дед. – Я одному человеку ее оставил. Он сильно кашлял, а мне сказали: «На воле совсем тепло».

– Добже, – одобрила Бабук, – то добже, – и на глазах ее блеснули слезы. Я не понял, почему заплакала Бабук, а теперь через много лет думаю, что в ту минуту она наверняка вспомнила о своих сыновьях в неволе.

Тогда я впервые услышал слово «воля» и почувствовал, что это очень важное слово и в то же время не просто слово, а то место, где мы сейчас живем. Мы живем на воле...

В тот день у нас на воле стало теплым-тепло, так что не обманули деда в казенном доме.

Оказалось, что полуторка, на которой приехал Ада, была забита мешками с мукой, белой мукой, которая кое-где выступала поверх мешковины белым пухом. Ада подогнал полуторку к дверям нашего дома, позвал от коровника счетовода Муслима и дедушку Дадава. Вместе с тетей Мотей все они стали разгружать мешки, носить их в дом и в холодную комнату, прилепленную к нашему дому.

– Где твоя двуколка? Где Сильва? – спросил Адам счетовода Муслима.

– Там, – счетовод кивнул за коровник.

– Значит, так, – сказал мой дед Адам, – один мешок Дадаву, один тебе, Муслим. Подгоняй Сильву.

И счетовод Муслим, и дедушка Дадав настолько оторопели от княжеской щедрости главного механика Адама, что пытались отказаться от дорогих подарков, но он настоял на своем:

– Иди-иди, подгоняй, не разговаривай!

Запряженная, как обычно, в двуколку с небольшой молочной цистерной блондинка Сильва явилась не одна. Рядом с левой оглоблей пританцовывал привязанный за веревку тонконогий гнедой жеребенок с белой звездочкой во лбу. Не так давно я видел новорожденного сына Сильвы, но удивился, насколько он вдруг подрос за две-три недели, какой стал смелый, веселый и ноги совсем не разъезжаются в разные стороны.

Мухи хотя и ожили после зимы, но еще не окрепли для атак. Сильве нечего было отгонять от себя, и она не трясла сивой гривой, не мотала хвостом, а стояла смирно, с гордым достоинством матери-одиночки, строго и ласково косясь большим выпуклым глазом на своего вертлявого первенца, который ни секунды не стоял на месте.

– А как его звать? – спросил я у Муслима про жеребенка.

– Никак, – отвечал счетовод с мешком муки на плече, – хочешь, сам назови.

– Хочу! – обрадовался я, но никаких имен что-то не приходило мне в голову. – Теть Нюся, как его назвать?

Теть Нюся и тетя Мотя, так же как и Ада с дедушкой Дадавом таскали по мешку вдвоем, а счетовод Муслим хотя и был хромой, но нес свой мешок один. Теть Клава подавала им всем мешки из кузова полуторки.

– Назови Вихрь. Когда я была маленькая, у меня был жеребенок Вихрь, – посоветовала тетя Нюся.

– Вихрь! – радостно погладил я жеребенка по плоскому шелковому лбу, а он лизнул мою руку нежным шершавым языком. – Ой, Ви! – засмеялся я от щекотки, – обожди, угощу!

Я вспомнил, что в тарелке на столе еще есть наши бурачные конфеты, и побежал в дом. Бурачные конфеты очень понравились Вихрю, он брал их с моей ладошки мягкими черными губами не все сразу, а по одной. Я тоже всегда ел их по одной, чтобы растянуть удовольствие. Одну конфету я дал Сильве – она хоть и мама, но еще совсем молодая и ей тоже хочется сладкого.

– Вихрь! Вихрь! – гладил я жеребенка по лицу и трепал по гладкой атласной шее. – Ви!

С того дня у меня стало два любимых друга: пес Джи и жеребенок Ви! Называть его Вихрь было слишком длинно, а я спешил жить.

И хромой счетовод Муслим в кепке-шестиклинке, и дедушка Дадав в старом бешмете благодарили моего деда Адама, прижимая правую руку к сердцу и кланяясь. Потом они погрузили два мешка муки на облучок, где обычно сидел Муслим, а сами пошли рядом с двуколкой в аул под синей горой, придерживая драгоценный груз каждый со своей стороны. А мой друг Ви бежал впереди них рядом со своей мамой Сильвой.

После разгрузки полуторки собрались пить чай. Теть Мотя как-то очень быстро не только вздула самовар, но и растопила печку печь пышки и стала замешивать тесто на краешке стола, чтобы не мешать разговору. В доме сильно пахло мукой. И за столом взрослые только и говорили, что о свалившемся богатстве, решали, как быть. Сколько муки оставить? Сколько поме-

нять на продукты или вещи? Сколько продать? И нужно ли продавать вообще? Пышек пока не было, разговор взрослых меня не интересовал, конфеты я скормил Ви, а пить чай с сахарином не хотелось, и я пошел на кровать к своим солдатикам. Хотя я и не сильно прислушивался, но отдельные реплики все же долетали до меня от стола.

– Отобрали пятьсот кило кукурузной, а вернули тысячу пятьсот пшеничной. Чудеса!

– Ловкость рук и никакого мошенства. Он мне справку на возврат выписал химическим карандашом под копирку. Сам поленился идти через весь длинный коридор. На, говорит, в канцелярии, у проходной, печать поставишь. Подлинник тебе – для Заготзерно, а копия нам останется. Я из его кабинета вышел и тут же про свой огрызок химического карандаша вспомнил. Нашел в кармане. Послюнил огрызок, приложил бумажки к стене. К его цифрам прибавил единичку впереди, а сзади «пш.» – пшеничной, значит. В канцелярии шлепнули мне печать на оба экземпляра – один мне на руки, и я с ним в Заготзерно. Франц сильно смеялся: «Еще польска не сгинела!»

– Ай-я-яй! Адасть! Адасть! – покачала белой головой Бабук.

В тот день я не понял почти ничего из услышанного. Тем более, немцы перешли в наступление, и мне было нужно поднимать из-за пригорков одеяла моих партизан с зелеными полосами на головах, партизан, которыми командовал мой пропавший без вести отец. Да, в тот день я ничего не понял, а теперь понимаю, какой отчаянной дерзости был у меня дед Адам и какой реактивный! Это ж надо – прямо на стене казенного дома еще внутри него, в одно касание, так распорядиться в свою пользу!

– В холода дедушка Дадав приносил нам большой кусок курдючного жира от председателя, – сказала тетя Нюся.

– Молодец председатель! Сейчас я к нему зайду, скажу спасибо, что не забыл вас без меня, – горделиво решил мой стремительный дед Адам, тут же вскочил из-за стола и направился в контору.

Скоро весь дом наполнился сладостным запахом горячих пышек. Я объявил всем солдатикам перерыв.

– Война войной, а обед по расписанию!

Скоро явился из конторы мой дед Адам.

– Председатель сказал мне, что не посылал вам курдючного жира, – обескуражено проговорил он с порога, но тут же взял себя в руки и горячо добавил, – молодец Дадав. Это он вам из своего последнего...

– Тем лучше, – громко сказала ученая тетя Клава, – лепта вдовицы дороже царской милости!

– А что это значит – лепта вдовицы? – подходя к столу, на который тетя Мотя уже водрузила тарелку с горой пышек, быстро спросил я.

– Буквы выучил? – вопросом на вопрос ответила тетя Клава.

– Почти все.

– Почти не считается. Когда выучишь все, тогда и объясню. Тебе в сентябре в школу, а сейчас апрель. О чем ты думаешь?

Я не стал связываться с тетей Клавой, ее все равно не переговоришь. А пышки пахли так вкусно! А тетя Клава вдруг вытащила из своей городской сумки кулечек, высыпала в тарелку настоящие конфеты – подушечки и, подмигнув мне зеленым круглым глазом, весело выкрикнула:

– Гулять, так гулять!

XVI

С каждым новым апрельским днем все горячее пригревало солнце, все быстрее набирали рост цветы и травы. И вот однажды утром я увидел, как побежали по крыше нашего дома алые волны распустившихся маков. Это было настолько красиво, что у меня перехватило дыхание, стало больно в груди и мне захотелось немедленно поделиться увиденной красотой с другими.

– Смотри, Джи, смотри! – я попытался задрать морду моего пса, но он не захотел любоваться алыми волнами.

Я обиделся на Джи потому, как в то время еще не знал, что в сетчатке глаз у собак нет колбочек, чувствительных к красному цвету, и они не различают зеленое и красное. А то, что люди видят сине-зеленым, например небо и траву, собаки могут видеть белым. Зато они отличают множество оттенков серого цвета и очень хорошо ориентируются в сумерках. Я оставил Джи в покое и побежал в дом.

– Тетя Нюся! Тетя Мотя! Бабук! Идите гляньте, как красиво!

Ада спозаранку ушел в город – «в одно место, к одному человеку». Тетя Клава еще со вчерашнего дня не возвращалась из города.

Тетя Мотя первая откликнулась на мой призыв, за ней тетя Нюся. А Бабук я просто взял за руку и вывел из дома. Я не мог допустить, чтобы кто-то из них сейчас же не увидел того, что увидел я.

– Спасибо тебе! – улыбнулась тетя Нюся, посмотрев, как пробегают под легким ветерком алые волны по крыше нашего дома.

Тетя Мотя тоже была рада и даже смахнула слезу из уголков своих печальных светлокариных глаз.

– Добже, – усмехнулась Бабук и ласково шлепнула меня легонькой рукой пониже спины, – то добже...

В тот же день пришли из аула старики, а хакимы, кто хромым, а кто с пустым рукавом, уважительно вынесли для них из конторы длинные скамейки, и все вместе они уселись на этих скамейках делать большой хабар, что значит разговаривать разговоры.

Большая весна вступила в свои права, весна 1945 года, которую совсем скоро, раз и навсегда, назовут Весной Победы.

XVII

Весной, когда становилось тепло и сухо, я любил ложиться спиной на соломенную подстилку коровника и смотреть в небо. Какие разные, какие неповторимые облака проплывали в неоглядной выси! Я мог любоваться ими подолгу и думать о том, как вырасту большой и поеду за тридевять земель в тридесятое царство и увижу весь остальной мир, а не только этот клочок лысой глинистой земли, на которой стоял мой дом с алыми маками на крыше и длинная саманная контора с дымно-розовым флагом с серпом и молотом.

Обычно Джи лежал возле меня, но смотреть в небо он не любил. Иногда я пытался задрать его голову и упрашивал посмотреть в небо, но все без толку. Тогда я еще не знал, что собаки могут видеть голубое белым. А теперь знаю, и мне понятно, что Джи было неинтересно смотреть на белые облака на белом небе.

Когда ты смотришь вверх, лежа на спине, и когда запрокидываешь голову стоя, впечатления от увиденного сверху сильно разнятся. В первый раз я подумал об этом в те далекие дни моего детства, лежа на спине рядом с Джи, а во второй – в начале семидесятых годов в Сикстинской капелле, что рядом с собором Святого Петра в Риме.

Многочисленные зрители, любующиеся фресками Микеланджело Буонарроти на потолке капеллы, запрокидывали головы лицами вверх, а несколько молодых, вольных душой американцев легли прямо на пол среди толпы и так рассматривали потолок, не опасаясь, что кто-то на них наступит. Я тоже лег на пол рядом с американцами, на холодный мраморный пол капеллы, и был вознагражден за свое несоветское поведение впечатлением на всю жизнь.

Фрески на потолке были живые, и совсем не верилось, что они нарисованы. Глядя на тот потолок, я впервые понял на собственном опыте и даже физически ощутил, насколько подлинники отличаются от копий. В копиях все вроде то же самое, до волоска... то, да не то. Подлинник великого художника и копию даже очень хорошего мастера всегда отличает неуловимое «чуть-чуть», которое, видимо, и составляет предмет гениальности, не подвластной никаким общечеловеческим законам, а только Божьему промыслу.

Меня сразу же захватила четвертая из девяти центральных композиций дугообразного потолка, а именно «Сотворение Адама». Во-первых, потому, что она выше всяческих похвал, и еще раз во-первых, потому, что, глядя на эту фреску, я моментально вспомнил моего любимого деда Адама, который тогда еще был жив и здоров. Миллионы людей знают эту фреску, и общепризнано, что это одна из самых мощных и одухотворенных композиций во всей Сикстинской капелле.

В бескрайнем небе летит седовласый Бог-Отец, за его спиной плащ, похожий одновременно на раковину и на наполненный ветром парус, а в нем свита бескрылых ангелов.

Бог-Отец летит к полулежащему на зеленоватой скале Адаму, который едва пробуждается к жизни. Правая рука Бога-Отца властно протянута навстречу еще как бы полуживой левой руке Адама. В этом жесте двух рук – одной, неукротимо всесильной, наполненной божественной энергией Творца, и другой, как бы оживающей, как бы принимающей из рук в руки бессмертную душу человека, сотворенного по образу и подобию Бога, наделенного неукротимой жаждой познания и стремлением к поиску божественного начала во всем сущем. В этом жесте и сосредоточен смысл происходящего, смысл сотворения Адама – первого человека.

XVIII

У нас вывелись цыплята!

Курицы Фома и Сима оправдали возложенные на них надежды.

Я очень хотел увидеть, как вылупляются цыплята, но все прозевал – смотрел около конуры на соревнования брадобреев.

Две длинные, отполированные до зеркального блеска скамейки из толстых строганных досок под стеной конторы стояли как бы в центре здешней жизни. В теплое время года на этих скамейках с утра и до вечера сидели почтенные старики и хакимы, строгали родовыми кинжалами хворостинки и вели нескончаемые дремотные разговоры. Стена конторы, под которой стояли скамейки, была оттерта спинами до соломинок самана, а земля вокруг утоптана как литая. Раньше годехан, то есть место мужских посиделок, был в ауле, но уже давно перебрался поближе к начальству. Тут все обсуждалось и решалось, все новости исходили отсюда и, облетев сакли аула, возвращались обратно.

С приходом настоящего тепла каждое воскресное утро здесь начиналось соревнование брадобреев.

Одни считали, что лучше всех бреет главный винодел Варган, другие отдавали предпочтение дедушке Дадаву, а третьи брились только у счетовода Муслима. У всех троих были опасные английские бритвы, мыльницы, помазки (от щедрот ленд-лиза, один из потоков которого проходил через Иран), лоснящиеся кожаные ремни для правки бритв. По воскресеньям под стеной конторы открывалась настоящая цирюльня. При нескончаемых подначках и хохоте стариков и хакимов брили все трое разом.

Грузный, короткорукий, с пучком торчащих из ворота рубашки черно-седых волос винодел Вартан властно поворачивал своих клиентов за нос, потемневшую от щетины мыльную пену обтирал с бритвы о левую ладонь и тут же стряхивал пену с ладони на землю.

Совсем маленький без тулупа, сухонький дедушка Дадав аккуратно вытирал бритву о специально припасенную газету без портретов вождей. Он, казалось, никуда не спешил, добродушно улыбался шуткам зрителей и всегда напевал себе под нос одно и то же: «Не шей ты мне, матучка, красный сарафан!» Почему он всегда пел песню «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», я не знаю. Из разговоров моего деда Адама, а больше из разговоров моих бабушек я кое-что слышал про дедушку Дадава, но особо не прислушивался. Например, они говорили, что когда дедушка Дадав был маленький, еще при царе, то он жил в России, на Орловщине, куда сослали на поселение его отца за месть кровнику. Ну, во-первых, я и представить не мог дедушку Дадава маленьким мальчиком. Во-вторых, я не очень понимал, где эта Россия? Ведь везде был Советский Союз! В-третьих и четвертых, я не знал тогда ни кто такой «кровник», ни что такое «месть».

Хромой, жилистый счетовод Муслим прыгал вокруг своего клиента, вскидывая сухую ногу, косился желтоватыми глазами на соперников и всегда повторял одну и ту же шутку:

– Эй, когда Вартан тебе нос отрежет, он немножко свой даст. У Вартан нос на всех хватит!

И клиенты, и брадобрее, и зрители, как правило, изъяснялись между собой на русском языке. Причина этого была проста: и в городе, и в ауле, и вообще окрест жили люди многих национальностей. Не считая русских, украинцев, поляков, евреев, армян, только коренных народностей проживало от века в наших краях не один десяток. Это до войны, а в войну еще хлынули беженцы. Говорят, что в общей сложности через наш город их прошло не меньше миллиона.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.